

АЛЬМАНАХ

АЗЪ

Выпуск 2



Издательское
предприятие
• ОБНОВЛЕНИЕ •

АЗЪ

Выпуск 2

АЛЬМАНАХ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Юз Алешковский</i>	ПОХИЩЕНИЕ ЧЕРЧИЛЯ Из книги «Рассказы майора Пронькина» 3
<i>Леонид Губанов</i>	«СЕГОДНЯ, ДЕД, ОПЯТЬ ПРО- КЛЯТЫЙ ДЕНЬ...» 12
<i>Владимир Черкасов- Георгиевский</i>	КОНВЕЙЕР «НА КИРПИЧИ- КИ» 13
<i>Андрей Шелков</i>	МОНОЛОГ ПАЛАЧА 25
<i>Мария Головановская</i>	В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРЬ- ЕНБАДЕ 26
<i>Рэмон Кено</i>	ЗАЗИ В МЕТРО 33
<i>Геррих Гейне</i>	«КУДА ТЕБЯ ГОНИТ ВЕСЕН- НЯЯ НОЧЬ?..» 54
<i>Юрий Аксютин</i>	«В МОСКВЕ ХОРОШАЯ ПОГО- ДА», ИЛИ КАК ОНИ СНИМА- ЛИ ХРУЩЕВА 55
<i>Ксения Плужникова</i>	«НА ДОЩАТОМ СТОЛЕ СВОЙ ОСТАВЛЮ КРЕСТ...» 67
<i>Раиса Сильвер</i>	НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКА- ЗЫ 68
<i>Александр Беляев</i>	ПАМЯТИ О. Э. МАНДЕЛЬ- ШТАМА 75
<i>Закир Дакинов</i>	ЖИВЕЕ, ОЛЯ, ЖИВЕЕ! 77
<i>Степан Царев</i>	КЛЕЙ 83
<i>Александр Бородиня</i>	ПОРТРЕТ С ПОКОЙНИЦЕЙ 84
<i>Петр Хмелинский</i>	ФАСАД ТЕРРОРА 90



Издательское
предприятие
• ОБНОВЛЕНИЕ •
1991

АЗЪ
АЛЬМАНАХ
Выпуск 2

главный редактор
СОФЬЯ МИТРОХИНА

Редакционная коллегия
Н. П. ВОЛКОВА, А. М. ЗАЙЦЕВ, А. И. КАРАНДЕЕВ,
Ю. А. КУВАЛДИН, М. А. ЩЕПЕТОВА

Художник
Ф. Е. Барбышев
Технический редактор
Л. М. Беседина
Корректор
Т. А. Семочкина

На обложке рис. Н. НЕДБАЙЛО

Сдано в набор 10.04.91. Подписано к печати 16.07.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 5,06. Усл. кр.-отт. 5,07. Уч.-изд. л. 7,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2101. Цена 2 р.

Издательское предприятие «Обновление». 109180, Москва, ул. Димитрова, 12.

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и массовой информации РСФСР. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.

ИЗ КНИГИ «РАССКАЗЫ
МАЙОРА ПРОНЬКИНА»

*Моему брату, великому наезднику
и спасителю московских вязов —
М. Ф-у*

Очень хорошо помню один весьма загадочный случай. Не помню только, в каком именно году он произошёл. То ли в тридцать седьмом, то ли даже в сороковом. В годах тех знаменитых сам черт голову себе свернет. Больно уж похожими друг на друга вспоминаются мне злокачественные эти годы. Утром чай, днем баян, вечером собрание, как говорили в тогдашние времена — на земле, в небесах и на море. То есть на воле и в лагерях. Но в лагерях я бывал иногда, слава Богу, лишь по служебным делам.

На воле, замечу, жизнь, конечно, выгодно отличалась от лагерной. Однако подумывал я тайком в те неприличные времена: как бы это мне устроить по большому благу годка три за злоупотребление служебным положением или, скажем, за хулиганство? Отбывал бы себе спасительный этот срок рядышком с Москвой. Связей у меня, знаете ли, всегда хватало в любых ведомствах. Посиживал бы себе, заведовал бы. КВЧ, с супругой бы встречался по интимным делам намного чаще и спокойней, чем на воле, нервишки сберег бы с сердчишком, да и с совестью дела обстояли бы под конец жизни гораздо благополучнее. Совесть, скажу я вам, это наиковарнейшая бомба замедленного действия. Взрывается она внезапно и, разумеется, еще задолго до того, как вы впали в последнюю и решительную агонию. Конечно, ежели совести у вас не было и нет, то и взрываться нечему, и каяться, как теперь модно говорить, вроде бы не в чем...

Простите, отвлекся. Не успел однажды зубы почистить перед сном, — вернулся же домой в четвертом часу утра, — раздается звонок.

— Пронькин, — говорю, — слушает, — стараясь не скрежетать нечищеными зубами от ненависти к службе и вообще ко всему на свете, включая сами знаете кого.

— Немедленно, Пронькин, выезжай на ипподром. Там тебя ждут. Беговая улица. Ясно?

— Дело, — говорю как всегда, — ясное, что дело — темное. Убийство?

— Если б убийство, — говорит самое высокое начальство, — я бы тебя, Пронькин, не сорвал... ха-ха-ха... с супруги. Лошадь

похитили. На любимую лошадь Буденного посягнули, прохиндеи. Имя лошади проклятой — Черчиль. Но это не в честь английского империализма, а от Чертовки и Чилия она происходит. Поднял тревогу жокей этой самой лошади. Он же начальник конюшни. Бывший мой знакомый. Тонкий в прошлом вор и вызывающе талантливый мошенник. Но завязал, закаляясь, как сталь... Пока все это известно ему и нам с тобой. Сторож там еще имеется. Пьянь, должно быть, ночная... Даю сутки сроку. Не то партбилет — на стол, скелет — на помойку. Транспорт — у подъезда...

Супруга, естественно, в слезы. Напоминаю ей знаками, что стены имеют уши. Затем бросаюсь на колени и развожу руки, в позе, если не ошибаюсь, Гамлета. Даю понять, что мы с нею — тоже невинные жертвы немыслимой катавасии в истории Российского государства. Трагически удаляюсь прочь от супружеского ложа.

Конечно, работа следователя МУРа связана с разного рода непредвиденными казусами жизни и смерти, но не терпящий отлагательств осмотр еще тепленького трупa и сгинувший куда-то жеребец, согласитесь, не сравнимые между собой настурции и анемоны. Хотел было со зла сказать шоферу насчет того, что в гражданскую загробили ни за что ни про что сотни тысяч лошадей, кормилиц села и города, а о памятнике погибшим животным — ни словечка. Но стоило пропасть праздному жеребчику — шум на весь мир... Плевать мне на ипподром и прочую отечественную кавалерию... Вся ее красота и достоинство — в далеком прошлом, как, впрочем, и многое остальное...

Хотел сказать, но воздержался. В те угрюмые годы гражданское и братское побоище вовсе не утихло. Просто оно приняло хорьковые и змеиные формы. Бывало, едешь в трамвае на Петровку и всею своей кожей чуешь состояние подлейшей взаимной охоты советских людей друг за другом. Так и ждут азартные охотнички, что вот-вот брякнет кто-нибудь что-нибудь двусмысленное. Анекдотец. Слушок. Недовольство положением дел со снабжением, с бесплатной, а потому и безответственной медициной, с жилплощадью жалконькой, с очередями, пожарающими все свободное время, и так далее.

Однажды на моих глазах две отвратительные коммунальные рожи скрутили руки какому-то загулявшему молодцу. Он спяну неосторожно брякнул: «Эх, господа, был Владимир, да весь вымер!» Я логически рассудил, что благородный и интеллигентный человек, каким, во всяком случае, выглядел тот несчастный, сожалел, скорей всего, о художественном падении Немировича-Данченко, либо о самом себе, или, на худой конец, имел в виду Маяковского, но никак не намекал на Ленина, оставившего в наследство сталинскую банду маршалов-головорезов.

Я не мог, поверьте, вынести хамского произвола двуногих хорьков. На садистических их мордах разгунявилось похабенькое предвкушение разных мелких наград и, возможно, некоторого поворота служебных карьер за поимку белогвардейского агитатора и врага народа. Я тыкнул им в поганнейшие мыркалы красную книжечку. Рывкнул шепотом: «Органы! Вон — из вагона! Мигом, сволочи!»... Спас дурака пьяного... И впоследствии не раз спасал неосторожных и невинных. Прокуроров, знаете ли, и палачей до

сих пор хватает у нас на душу населения, а вот с милосердием, состраданием и взаимным благородством души — натуральная беда и стихийное бедствие...

Мчимся на ипподром, на Беговую. Если бы вы знали, молодой человек, как горестно, как адски потусторонне, как безумно выглядела в те годы ночная Москва... Я-то безошибочно различал на улицах машины, перевозившие арестованных «врагов народа». И от сознания того, что нет сейчас ни у людей, ни у мира либо сил, либо желания прекратить эту мясорубку, не хотелось не то что разыскивать буденновского Черчиля — жить не хотелось от всей этой сумасшедшей, кровавой мерзости. Тянулась, не раз тянулась рука моя к кобуре. Но... человек слаб, и в этой слабости жить — жить, несмотря ни на что, — его сила. Не то многие тогда порешили бы сами с собой. Стыдно было, непреодолимо почти стыдно, не знаю уж перед КЕМ и перед ЧЕМ, за происходящие в людском общезнании неслыханные безобразия...

Подъезжаем к проходной, к воротам. Здравуюсь со сторожем и жокеем-наездником, он же начальник конюшни, из которой был похищен номенклатурный жеребец. На этом бородатом человеке в заграничных очках — росточка он весьма невысокого — лица нет. Бледность в ночи человеческого лица всегда нагоняет на душу некоторый ужас. Не виноват, думаю. Сторож — крепкий такой мужик — тоже в неподдельном отчаянии. Клянется жизнью детей, что не заснул ни на минутку. Через закрытые ворота и муха не могла пролететь. Не враг же я, говорит, сам себе и родным детям, не говоря уж о других близких родственниках?..

Проклинаю про себя жеребца, маршала Буденного, Карла Маркса и сказку, которая, к общему нашему несчастью, стала жуткою былью, тоскливо читаю старую, почерневшую от дыма «буржуйки» стенгазету... «Зингеров — лучший наездник. Он в порядке шефства подготовил для буденновской кавалерии гнедой, пегий, вороной и буланый контингент, выводящий нашу новую тачанку в тройку самых резвых экипажей мира... В любом, самом захудалом рысаке успешно пробуждает на финише бешеную энергию, дремавшую при царе, что выводит нас по показателям резвости...»

Первым делом обходим с жокеем Зингеровым вокруг ограды ипподрома. Замечаю в одном месте явно преступный пролом. Не могу при этом не отметить, что выглядит сей пролом весьма странно-вато. словно потрудился тут профессионал-декоратор с большим вкусом. Штукетины ограды разбросаны вокруг так, чтобы специально привлечь к себе внимание оперативного, то есть моего ока. Привлечь и пустить по ложному следу — прочь от следа истинного. Будь там отпечатки подков и человеческих ног, я бы, разумеется, клюнул поначалу. Увлёкся бы. Но в том-то и дело, что не было поблизости от пролома буквально ни одного подковообразного следа... Странновато, думаю, и непрофессионально.

Идем дальше... Черчиля нет. Местожителство его пусто. Навалена лишь на свежей соломе приличная куча навоза. Делаем с жокеем Зингеровым важное умозаключение: судя по внутренней температуре кучи, Черчилль был похищен какими-то последними мопиканами конокрадства не больше двух часов назад. После такого

умозаключения натурально умываем руки. Между прочим, громадный замок вырван был из ворот конюшни, что называется, с мясом. Перед воротами тоже ни следа. Начисто все выметено... Люблю, знаете ли, нежные, волнообразные штрихи дворницкой метелочки на душевно прибранной либо хозяином, либо работником земле... Ни слединочки... «Дубина, — не без некоторого сочувствия подумал я о сверхнаивном неведомом похитителе. — Я ведь тебя изловлю!»

— Есть, — спрашиваю у жокея, — какие-нибудь предположения? Конюхи?

— Конюхи у меня — из бывших. Вроде вас, товарищ оперативник. Один — пехотный штабс-капитан. Второй — морской офицер. Оба алкоголики. Но работающие и со старинным чувством чести.

— Чувствуется, — говорю, — что не только в лошадях разбираетесь. Сами-то не потомок аристократического рода?

— Всего-навсего бывший босяк, но читаю по ночам «бывшую» литературу.

— Например? Не бойтесь — не заложу.

— «Бесы», Библия, Конфуций, Есенин. Сейчас любая помойка в центре Москвы — библиотека. Не брезгуем...

— А что это вы вдруг прервали чтение и посетили ночью конюшню? Не подозреваю вас, но просто интересуюсь.

— Стало вдруг невмоготу. У беспризорников приборчик такой хитрый имеется в тревожной душе.

— Вредительство так называемое исключаете?

— Полностью. Лошадь можно вывести из строя так, что комар носа не подточит. Красть незачем.

— Черчилль что — чудо коневодства? Отличный рысак?

— Ленивый пижон. В молодости чего-то стоил. Красавец, одним словом, и тоже из бывших, — усмехнулся бывший беспризорник.

— Не много ли тут собралось нашего брата? — К сердцу моему подкрадывались тоска и дурные предчувствия. Вот — дело гнилое... Буденный... конюхи из «бывших»... жокей — вызывающе талантливый, в прошлом мошенник... — Тянет, — говорю мрачно, — на приличный заговор и диверсионную группу...

— Расхлебывайте. Это — ваша работа. Если же... — жокей не договорил.

И тут меня взорвало:

— Если же и догадываетесь, то хрена с два скажете? Пусть проклятый мент сам все расхлебывает и сам же всех вас тут покрывает, ибо в нем жива еще честь дворянина и сердце русского интеллигента? Так, что ли? Думаете, не расхлебаю? Не такие дела расхлебывал. «Если же!» А если бы сюда нагрянул кто-нибудь из моих нынешних коллег да и передал бы вас иному ведомству, то все вы — бывшие и не бывшие — через пару часов признались бы за милую душу во вредительстве. Раскололись бы в том, что по заданию германской и японской разведок отравили Черчиля стрихнином, труп его разложили в соляной кислоте до основания, а затем... затем бутылочку из-под «Красной Москвы» с вызывающим цинизмом послали по почте парламенту Англии. «Если же!» Дело обстоит так: если я вам доверяю, основываясь исключительно на

интуиции, а не на врожденном уважении к беспризорникам, то и вы мне доверяйте, поборов «классовое» отвращение к ментам. Черт бы вас всех побрал! Сторож тоже из бывших?

— Скрытный мужик. По-моему — из раскулаченных. Парторг его откуда-то выкопал и пристроил. Не думаю, что его рук дело. За место держится. Не дрыхнет по ночам.

— Но навоз-то подворовывает? Меня это, собственно, не колышет. Это я так...

— Все его тут подворовывают. Навоз — одно дело, жеребец — другое.

Заходим в сторожку. Сторож, с наивной мужицкой верой в неотразимость собственной изворотливости, то есть с врожденной хитрецей, с ходу начинает мне внушать, что у татар скоро большой праздник, что конины нет в магазинах и надо бы проверить всю эту татаро-монгольскую линию. Затем уже пойти по линии цыганской. Их хлебом не корми — дай коня украсть. Что у нас с вами — футбол, то у них, у цыган, — конокрадство. В первую очередь, значит, выгодно татарам и цыганам...

— Ну, а с евреями как? — спрашиваю.

— Еврей коня не станет красть. Он все больше по мехам ударяет, по золотишку и кораллам.

— А мы, русские? — продолжаю интересоваться у этого этнографа-любителя.

— Мы — народ большой и широкий душой. Мы все нынче тащим, — с угрюмой горделивостью сказал сторож. — Как жизнь подсажет, так и тащим.

Интуитивно почуяв, что необходимо разрядить обстановку, сторож достал из-под стола бутылку и закуску. В сторожке запахло чайной колбасой, ситным хлебушком и соленым огурчиком, одним словом — бедной и счастливой студенческой юностью. Мы со сторожем чокнулись. Жокей был непьющим.

Я прикидывал: с какого конца взяться за это странное дело? Сторож, поддав, продолжал со все большим азартом разрабатывать нелепую «татаро-монгольскую» версию. Договорился до того, что не мешало бы перетрясти цыганский театр. Коня, например, вполне могли перекрасить и бросить в представление для пущей красоты табора. Он также клялся всеми детьми, что знает цыганскую братию как свои пять пальцев. Цыганами у него лично похищены были в свое время, эх, царство небесное тому времечку, две добрых лошади...

Я только кивал головой, якобы соглашаясь с такой проницательной версией. Меня уже волновал смутный образ преступления, недавно совершенного не без участия хитрого сторожа. Иван Михеич — так его звали — все подливал мне и подливал, решив, видимо, спить мента. Но я — из гусей пьющих, да не косеющих. Не косею из-за незаживающей на почве всенародных бедствий раны жизни...

Пью, значит. Ситный пожеваю. Колбаску приканчиваю. И бросается мне в глаза номер телефона, записанный на газетке, в которую колбаска та была завернута. Ну-ну, думаю, номерок-то — лубянский! Да к тому же транспортного отдела!

Не ведаю, как зарождаются в голове моей самые немыслимые вроде бы догадки. А как уж они развиваются в ней до странных, но внятных эскизов преступлений,— дело для меня еще более неведомое и чудесное. Ключу носом: времени-то — пятый час утра. Дозволю как бы посаморазвиваться картине преступления. И, ей-Богу, даже в незаконченном виде доставляет она мне, как по форме, так и по содержанию, некоторое прямо-таки душевное удовольствие... Вот, думаю, горестно, по какой разбойничьей дорожке покатила вся наша народная жизнь. Как выбиваться ей теперь приходится к деятельности из-под железобетона сталинского социализма и коллективизации, будь все это проклято. Нормальных людей превращаем в рабов и жуликов, а также в производителей последующих вороватых поколений... Представил я, одним словом, в общих чертах картину происшедшего. Разобраться в его мотивах было проще простого.

Однако, незаметно для себя, задремал. И, что бы вы думали, приснилось мне в том взбалмошном и мгновенном сне? Снится мне, что проверяю я, в качестве контролера, трамвайный билет у самого... Владимира Ильича Ульянова! То есть сам на себя он несколько не походит: грим для отвода глаз наложен отлично и со знанием конспиративного дела. Но я-то знаю: Ульянов-Ленин стоит передо мною в ответственной момент истории государства Российского и всего остального мира. Требовательно предлагаю пройти в участок... вы, сударь, изволите ехать без билета... там разберутся... В ответ Ульянов сует мне в руку штраф — пачку немецких банкнот. По-дурачки пересчитываю их, и охладевает вдруг душа моя от ужаса безысходности и полнейшей неотвратимости неких роковых событий. Пересчитав банкноты, все же решаю немедленно задержать заgrimированного господина, чтобы как-то предупредить надвигающуюся катастрофу. Беру его эдак под руку известным ментовским жестом и веду. Привожу в участок с самым благостным для хорошего сыщика чувством — чувством того, что ужасное злодеяние предупреждено вовремя и совершенно бескровно.

Докладаваю по форме начальству, что так, мол, и так, вынужден был пойти на крайнюю меру ради естественного продолжения нормальной нашей, хоть и несчастной порою, жизнедеятельности. А чины поднимают меня на смех: задержанного-то в руках у меня нет! Только в форточку вытягивает запашок тягостного угара и облачко фантомального дыма... И такое никем не ублажимое сожаление охватывает мою душу, такая пронизывает всю ее невыносимая грусть от невозможности обратить случившееся вспять, что вывела меня из жутковатой дремоты острая сердечная боль...

Открываю глаза. Минут пять продремал. Расширяю сосуды очередным принятием. И говорю сторожу так:

— Приснилось мне вот что: в деревне у вас беда. Полное разорение. Колхоз. Кто-то из ваших родственников вот тут, в сторожке, поддав с социального горя и бытового отчаяния, говорит: выручай, брат. Безлошадность замучила. Всех лошадей, сам знаешь, в голодуху на товарища похлебкина и господина супова перевели. А тут они у вас пошли по бесполезному балету. Жулью способствуют в холостых пробежках. Зря копыта отбивают. Подмоги, а мы тебе всем

миром в ножки повалимся... Навозом-то ты нам пособляешь, но с лошадкой живой было бы посподручнее... Не так ли, в общих чертах? — спрашиваю у сторожа, на котором от смятенья и погибельных предчувствий уже лица нет.

Сторож молчит. Не хватанул бы, думаю, сдуру колуном промеж глаз. С новичками, преступившими закон, это случается. Черт знает чего могут наколбасить в безумной жажде немедленного спасения.

— Не так ли, Иван Михеевич? — повторяю.

Но сторож уперся — ушел, как выражаются в нашем ведомстве, в глухую несознанку.

— Времени, — говорю, — у нас мало. Буду короток. Пролом вы сделали для отвода глаз. Затем вывели Черчила из конюшни. Может, подскажите, в какое транспортное средство был он отпассажирован?

Сторож уставился на меня взглядом затравленного зверя, но во взгляде его были нескрываемая ненависть и презрение к представителю власти. Чувства эти, казалось, намертво припечатали его губы. Так ведут себя люди, готовые ко всему, давая понять карателям, что им терять нечего.

— Хорошо. Тогда подскажу я. К воротам подъехала служебная машина. «Черный ворон». Водитель ее, скорей всего, — ваш дружок, сосед или односельчанин. Возможно, тоже — жертва великих переломов, будь они неладны. Вот, собственно, и все... Ваша задача — переждать. Остальное — дело техники. Придумано великолепно, с учетом особенностей ночного пейзажа столицы государства рабочих и крестьян. Чудесно придумано, но не все рассчитано до конца. Поэтому вы, Иван Михеевич, горите со всеми потрохами и тянете за собой в Бутырки Зингерова. А водитель вполне может подготовиться стать пассажиром «воронка». Что будем...

Сторож не дал мне договорить. Он с таким зверским выражением лица сунул вдруг руку за пазуху, что я, несмотря на адскую усталость, показал неплохую резвость — молниеносно отпрянул в сторону и успел вытащить из кобуры револьвер. Но сторож внезапно повалился мне в ноги и умоляюще протянул большущую пачку денег. Губы у него тряслись от ужаса, крушения всех надежд и надвигающихся несчастий. В глазах была немая мольба.

— Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, — угрюмо сказал бывший беспризорник. — Сука позорная! Пропадлина заносная! До чего довел крестьянство и аристократию! А ты, баклан рогатый, — бешено заорал он на сторожа, — колись, пока не поздно! Благодарю Бога за то, что ЧЕЛОВЕК стоит перед тобой. Понял, дура?

— По... по... по... — сторож, казалось, лишился дара речи. Я подошел, нагнулся и врзал ему с правой в челюсть, для предупреждения помраченья наивного деревенского ума. Он мотнул головой и быстро встал с колен. Проморгался. В глазах его блеснула надежда. — Спасибо... спасибар... спасибарин... — бормотал он умоляюще. Я грязно выругался и в сердцах добавил:

— Не успели очухаться от крепостничества — снова попали в чертово рабство... спасибарин. Лошадь где?

— Неподалеку тут. В надежном месте... век не забуду... спасибарин... Я хоть и подался в город, но не от хорошей жизни, и обще-

ство бросить в беде не имею никакого права. Это змей усатый — враг народа, а я есть не кулак, но защитник крестьянского труда и родимого земледелия.

— Зачем в хозяйстве такая нежная скотина — беговой конь, которого следует пичкать боржоми, грильяжем и свежими яйцами?

— Только лишь для производства стоящих лошадей. Пара-то кобыл-одиночек у нас осталась после головокружения от успехов. А жеребцов всех оскопили по разнарядке райкома и ради повсеместной любви к трактору. Что ж теперь делать, ваше превосходительство?

— Мне преступление следует раскрыть и отчитаться, — сказал я, раздумывая: как бы подостойнее выйти из положения? Не губить же несчастного кормильца за благородное и необходимое предприятие? И самому к тому же важно не погореть из-за воспитанного во мне и не пропавшего в братоубийственные времена чувства сострадания к невинным жертвам проклятой утопии.

— Нехорошо, — говорю, — бросать тень на цыган и татар. А если бы их брать начали? Если бы человек двадцать признались за милую душу, что сговорились похитить и сожрать, скажем, на рамазан любимую лошадь маршала Буденного? Если бы загремели все они без права переписки черт знает куда? Нехорошо. Неблагородно, Иван Михеевич. Дайте-ка мне также фамилию этого человека... «воронок» который водит, так сказать, на рысях, на большие дела... В нашем деле все может пригодиться. Язык советую держать за зубами.

— Могила, — клятвенно перекрестился сторож.

— Гони жеребца обратно и сваливай отсюда куда подальше по собственному желанию, — сказал Зингеров. Тут Иван Михеевич заявляет с весьма удивившей меня решительностью:

— Мне назад ходу нет. Вот покроем кобылок — доставим Черчиля обратно в целости и невредимости. А тогда — сажайте, убивайте. Нету мне назад никакого ходу.

Зингеров схватил полено и бросился на сторожа. Я успел встать между ними.

— Черчиля после случки — только на мыло гнать! — кричал он. — Что Буденному скажем?

— Что-нибудь надо придумать, — примирительно сказал я. — Доложим, что пора Черчилю перейти на интенсивное деторождение новых чемпионов. Пока сил не растратил ради алчного тотализатора. В конце концов, Миша, рысистые испытания — не главное в народной жизни. У народа, к сожалению, имеются сейчас испытания почище. Выдюжить их надо и перемочь. Я вот тоже вынужден злоупотребить служебным положением как человек порядочный и не бесчувственный.

— Вот и главное, — вставил сторож, наливая еще по одной. — Ты, Михаил, не тревожься. Мы с Черчилем за сутки управимся. Черный этот «ворон» вроде бы на ремонт встал, а сам за кобылками поехал, под Ярославль. Новое поколение зачать — дело недолгое...

Сторож заверил совершенно взбешенного всеми этими обстоятельствами жокея, что Черчиль находится в отличных условиях, на Тушинском аэродроме, в ангаре для личного самолета бывшего

маршала Тухачевского. Механиком там служит также бывший деревенский священник, отец Аким. В ангаре и произойдет вся необходимая любовь... Комар носа не подточит...

Я еле держался на ногах от усталости. Мы договорились, что я доложу начальству о произошедшей по вине алкоголика-конюха ошибке. Что, дескать, он завел Черчила в другую конюшню, а замок был взломан по совсем иной причине: неизвестные лица, скорей всего фанатики бегов, похитили не такую уж ценную сбрую и попопу рекордсмена Челкастого Второго... Заодно прихватили десять брусков мыла, пару мешков овса и новый огнетушитель... Пусть, доложу, районная милиция всем этим рядовым случаем занимается. У нас есть дела покрупнее и поактуальнее...

Сторож с жокеем ушли восстанавливать ограду и уничтожать следы ложного взлома. В ожидании служебной машины я сидел у «буржуйки» и горестно размышлял об уродливом и роковом преобразении всей нашей общей жизни — жизни, в которой я — хороший сыщик — из уважения к себе, к людям, к чести дворянина и к сущности своего благородного призвания — необходимо должен НЕ РАСКРЫВАТЬ некоторые преступления. Я думал о партгорге ипподрома, с риском для себя пристроившем кулака-односельчанина на работу. Думал о шофере «воронка», перевозчике несчастных арестованных и бывших палачей, согласившемся на такого необычного «левака». Думал об авиамеханике, бывшем священнослужителе, устроившем в ангаре Тухачевского дом свиданий для деревенских кобылок и породистого рысака. Думал и о самом недавно расстрелянном бывшем маршале, потопившем в крови восстание тамбовских крестьян. О скрипочке его думал, на которой он попиливал, прижавшись щекою к ее бессмертной плоти да томительно выкатывая полководческое око на карту растерзанной Тамбовской губернии... И такая острая тоска по теперь уже бывшей, по совершенно нормальной — со всеми ее ужасами и радостями — жизни пронзила в очередной раз мое сердце и горестно сотрясла душу, что вновь подумалось мне: а стоит ли, собственно, жить на этом свете, раз все, все, все поистине невозвратимо? И я заплакал, как плакал над гробом бедной моей матери. Заплакал от этой вот самой тоски по навек утраченному и от невольного, но непростительного греха соучастия в плебейском распинании старого порядка существования.

Руку мою, словно нечистой силой, потянуло к кобуре револьвера. Ничего не было в тот миг перед моими невидящими глазами — ни супруги, ни чудом уцелевших в братской бойне друзей, ни даже прекрасного лика бывшей, невозвратимой жизни. Помню: револьвер показался мне абсолютно невесомым. И я бы спустил курок, если бы под окном сторожки вдруг не завизжали тормоза служебной «эмки». Я успел, слава Богу, спрятать искусительное оружие в кобуру. В сторожку вбежал шофер, тоже, как это ни странно, из бывших — эпман, по фамилии Богач, бывший хозяин одноименного ресторана.

— Налет на сберкассу!!! — закричал он с порога. — Двое убитых!!!

Как спасительным ветром, враз сдуло с меня, поверьте, тягостную тоску, преступное искушение и легкомысленное желание самоустраниться от этой невозможной для понимания, «новой» советской жизни.

Я побежал к служебной машине.

* * *

Сегодня, дед, опять проклятый день
С холодным сердцем, руганью и рванью.
Скулят дожди по спинам деревень,
Да стынет кровь перед рассветной ранью.

Ну что мы знаем в этот миг, старик?
Что этот мир не так красив и бросок?
Что ножницами-ливнями он стриг
Блондинкам-липам ветреные косы.

Да, он бывает жестким и глухим,
Ведь мы живем на палубах планеты,
Где жизнь смывает лучшие стихи
Погибших в качках мальчиков-поэтов.

Где вместо мачт стоит лишь крест Христа,
Где паруса, как тучи в черных дырах,
Где свет России, как больной кристалл,
Лежит на сердце каменного мира.

1963

Владимир Черкасов-
Георгиевский

КОНВЕЙЕР «НА КИРПИЧКИ»

Рассказ

1

Осенью 1937 года в лагере на старом воркутинском руднике начались массовые аресты. В зоне — и опять аресты? Да. Хватали и политических, и воров, и «бытовиков». Было это после того, как троцкисты сняли с себя голодовку, длившуюся сто дней, и их, арестованных лагерной комендатурой, повели за несколько километров на кирпичный завод. Прочих арестантов, среди которых был Георгий, отправляли на реку Усу.

Кирпичный завод был временным сооружением. На берегу притока речки Воркутки, возле узкоколейки, под навесом стояли две печи, бочка с мешалкой, которую вместо лошадей крутили эски, и открытый сарай для сушки кирпича. Здесь же за проволокой была тюрьма для лагерных штрафников, человек на триста. Около нее дополнительно разбили огромную брезентовую палатку, тоже сотни на три.

Партию Георгия доставили к такой же палатке под тремя вышками близ Усы. В палатке было пока сотни полторы. По обе ее стороны тянулись двухэтажные нары. В проходе стояли железные бочки, приспособленные под печи, с трубами через потолок. Жарко топившиеся углем, печи нагревались докрасна. Вокруг сбились уголовники, исхудалые троцкисты, эски многих наций: и узбеки, и армяне, и татары, и евреи, вплоть до коми, которых воры окрестили «комиками».

При входе Георгий, одетый в пальто с котиковым воротником и меховую шапку, сразу понял, что с его домашней одеждой рано или поздно придется расстаться. У одной из печек он увидел знакомую фигуру. Пшеничный! Тридцатилетний уркаган, «законник», восседал на разостланном тряпье по-турецки в окружении воря разных рангов и возрастов. Пшеничный что-то весело рассказывал на виртуозной «фене», вдохновенно взвихряя речь матерщиной. Слушатели гордились своим паханом.

Георгий познакомился с ним на кирпичном заводе, где Пшеничный сидел в тюрьме как отказник от работы. Тогда с начальником завода Пятилетовым Георгий зашел в камеру Пшеничного. Пятилетов, бывший пограничник, «оттягивающий» свою «пятерку», пытался уговорить Пшеничного работать. Пока Пятилетов вел свою речь, Пшеничный вдруг ударил его ладонью сверху вниз так, что фуражка осела начальнику на глаза.

Пятилетов от страха выбежал во двор. Георгий, одобряя этот удар, потому что презирал Пятилетова за фальшивость, вышел следом. Пряча глаза, Пятилетов заговорил:

— К таким людям нужен особый подход. В общем, они ребята «социально близкие». Прошу вас, как завхоза, вести с ним дальнейшие переговоры.

На другой день Георгий назло Пятилетову сказал нарядчику, чтобы Пшеничному ежедневно выдавали «усиленные» девятьсот граммов хлеба вместо штрафных трехсот и полноценный обед. Спустя месяц, узнав об этом, Пятилетов выгнал Георгия с выгоднейшего завхозовского поста.

Теперь Георгий прямо подошел к столу-трону и приветствовал Пшеничного бодрым голосом. Тот подозрительно прищурился, потом глянул с дружелюбием и предложил Георгию отдохнуть на нижних нарах. Свита оценила высочайший знак внимания. Отныне к Георгию надлежало относиться не как к бесправному «черту», а как к выдающемуся фрайеру. И на том спасибо, сообразил Георгий, хотя: «закон есть закон», — обобрать его по-прежнему каждый из них имеет право, несмотря на приятельство с паханом. Была в этом зависимость не от обстоятельности, от воровской потребности.

Георгий сразу прилег, чтобы утвердить свое положение. Он немного расслабился и подумал: «Плавают хищные рыбы рядом с мелкой рыбешкой. Не глотают ее, пока не появится аппетит». Он перевел глаза на верхние нары над печкой и встретил косой взгляд. Наблюдал за ним заместитель Пшеничного Сенька. «Этот ненавидит даже воров», — невольно напрягаясь, сказал себе Георгий. Сенька опраивлял жилетку, опираясь руками на колени, сложенные калачиком на ковре из тряпья. Рядом с ним лежал его молодой наложник. У Пшеничного «жен» было двое — в шапочках набекрень, брюки с напуском на сапожки подпоясаны красными кушаками.

Рассматривая воровской куток, Георгий думал о наследственности идей. Предшественники этих воров скитались по царским тюрьмам и каторгам, достойно уходили от труда. И эти уходили. Саморубы щеголяли ладонями без пальцев, у других руки беспомощно болтались из-за перерезанных жил. Они твердо верили в то, что воруют все, живущие на Земле. А если нет, то на халяву получают зарплату, а это все равно воровство. Лучше быть чистым вором, провозглашали они, чем маскироваться под честного гражданина.

Георгий вспоминал яростный монолог одного из теоретиков: «Труд только для умственно отсталых. Труд унижает человека! На самом деле и Маркс в своих книгах писал, что труд человека превращает в обезьяну. Ведь Советская власть — сплошной агитпроп! Для дураков — необходимый, чтобы работали на других, заправляющих государством. Эти никогда не трудились даже для себя. Возьмем их биографии в царское время. Лишь «боролись» — грабили профессиональные революционеры-экспроприаторы! Только мы есть честные вору, без всякого понта. Они нас считают «социально близкими», потому что родня нам по духу. А вот вас, контриков, будут уничтожать, как врагов!»

К ночи Георгий пошел на фрайерскую половину. Остановился у группы евангелистов, «крестиков», по выражению блатных. И их, давно отбывших свои десять лет тюрем и лагерей, привели сюда. Стриженные под горшок, тихие «крестики» невозмутимо молились,

расположившись вплотную к ворам. Может быть, оттого, что по своим причинам также всегда отказывались работать?

Нацмены лежали на нарах строго по землячествам. Основной же массой в палатке были «болтуны» и троцкисты. Ударная группа троцкистов падала на расстрелах у кирпичного завода, а их случайные товарищи слонялись пока у здешнего огня. Ожидавшие своей очереди в палатке «контрики» или «болтуны», уж год промаявшись в лагерях, все не раздевались. В пальто, подвязанных веревками, с обмотанными вокруг шеи грязными полотенцами вечно торчали у стен с чемоданчиками, узелками наготове, как на вокзале. Им грезилось: вот-вот вызовут и скажут: «Товарищи, произошла ошибка. Вы свободны!» Даже здесь, топчась у раскаленных печек, мечтатели выделялись блеском одержимых взглядов.

Георгий устроился на нарах рядом с горбоносым, яро выкаты-вающим васильковые глаза человеком — Розгиным, типичным «болтуном».

В палатку вваливались новые и новые партии арестантов, с низовой Печоры, Ухты. На сотни километров по тундре раскинулись лагеря, командировки, лагпункты. С них требовалось в эту перевалочную триста душ. Отсюда дорога была одна — на кирпичный завод, «на кирпичики». Недобитых там ждала дорога на Обдорск, по тундре, куда никто не доходил живым.

2

Два дня, пока палатка набирала комплект, не кормили. Но голода не чувствовалось, была немощь, безразличие ко всему происходящему. На третий день, когда повалил снег и заметалась пурга, к палатке принесли еду. У сторожевой вышки поставили корзины с трехсотграммовыми кусками хлеба, бидоны с заледеневшей баландой. Позади них высились зэки-раздатчики из комендатуры, дальше конвой.

Красномордый зэк-комендант Бухарцев рявкнул:

— Выходи!

Первыми дружно, плотной толпой вывалились воры.

От вскинувшего винтовки конвоя прогремело:

— Стой!

Зэки замерли, как замороженные.

— Подходи! — скомандовали.

Орава бросилась к корзинам, которые тут же исчезли под грудой тел.

Конвой ударил залпом в воздух.

Толпа отпрянула. Лишь передние заталкивали за пазуху по три-четыре пайки.

Начальник конвоя крикнул:

— Стой, сволочь! Стрелять буду! Подходи по одному.

Двое задавленных остались на снегу.

Начальник конвоя, наконец, построил в очередь по четверо.

Через двадцать минут корзины опустели. Баланду и не раздавали, о мисках не позаботились.

С хлебом вернулись в основном воры. Георгий до следующего утра настраивался на корзины.

На новой раздаче он врезался еще не изможденным телом в передние ряды. Лежа на борту корзины, набил хлеба под рубашку.

На нарах, вытирая кровь с разбитого лица, Георгий поделил добычу с отрешенным соседом Розгиным.

Еще неделю сыты были лишь наглые и ловкие, пока смертников не разбили по десяткам с десятниками. Выходили своими группами, но и в них затесывались смекалистые воры: переодеваясь, подходя к раздаче, где появились миски, по несколько раз.

Конвейер «на кирпичики» тоже начал налаживаться. Пошел транзит на Обдорск, люди убывали и прибывали.

Пшеничный и другая воровская знать до хлебной охоты не опускалась. Их обслуживали пока не принятые в «закон» «сявки». На границе с фрайерами, неподалеку от Георгия, стараясь быть неприметными, ютились «ссученные» воры, изменившие «закону» в лагере. Многие харкали чахоточной кровью, но самое страшное ждало их на неминуемой «правилке» — воровском суде.

«Права начали качать», когда «следователи» изучили «сук». Наиболее впечатляющая была процедура над двадцатилетним великаном по кличке Малолетка. Он обвинялся в том, что, будучи раздатчиком в лагерной столовой, не давал ворам лишнего, по-людски говоря, работал честно.

После окончательного обсуждения на «толковище» Малолетку сбили на землю. Толпа так истоптала его ногами, что он пластом пролежал две недели на нарах.

Георгий заметил — после «суда» Малолетку больше не трогали, не трогали. Очевидно, наказывали лишь единожды, без последствий. Георгий подумал, что в государственном Особом совещании за один и тот же поступок могли мытарить столько, сколько нужно для человеческой гибели.

Осматриваться приходилось и потому, что ворами не приглянулся его сосед Розгин. Наверное, из-за высверка умных глаз и резких черт лица среди воров прошел слух, что он бывший прокурор. Его задевали, он держался с независимостью. Бессонной ночью Розгин, коченевший от холода, шептал Георгию на ухо:

— Да откуда взяли, что прокурор? Я рядовой инженер. Знаете, мы здесь настолько беззащитны, что, если кого-то воры начнут насиловать, остальные промолчат. Нас же перебьют или передуют поодиночке.

Георгий рассеянно думал о спаянности уголовников.

Пурга била палатку. Снежный ветер врвался в дыры брезента.

Дрожа от холода, Розгин слез с нар и протиснулся сквозь тесное кольцо к печке. Метрах в полутора от ее раскаленных боков стояли воры, грея руки. Розгин, не по чину, зашевелил, как вор, на весу оочевневшими кистями.

Воры пристально разглядывали его. А он оказался спиной как раз перед Сенькой. Сенька внезапно приподнялся, повернулся задом к печке. Как бы поправляя подстилку, взглянул на затылок Розгина и резко ударил в него ногой. Розгин упал ладонями на покрасневшую от огня печь.

Он вскрикнул и отпрянул назад. Другой вор толкнул, Розгин упал на печь грудью. Оторвался. Снова под ударом упал. Воры методич-

но толкали его. Он метался в кольце, как приговоренный к смерти. Рубашка дымилась, руки покрывались пузырями.

Вокруг хохотали:

— Прокурор присягу принимает!

Розгин собрал последние силы и вдруг кинулся на палачей с таким нечеловеческим криком, что они дрогнули, кольцо разомкнулось. Розгин вскочил на нары и долго гасил в душе своей негодование.

— Зачем вы отсюда вылезли? — спросил Георгий, когда тот успокоился.

— Чтобы не околеть, — прохрипел Розгин.

Троцкисты молча сгрудились вдали от печек. Кавказцы безмолвно, укоризненно качали головами. Один из «бытовиков», поворачивая бока к огню, задумчиво произнес:

— А какая морда у него была? Прыгал, как горящая жаба.

Соседи по нарам отодвинулись подальше. Георгий вставал, чтобы поменять влажные тряпки и принести свежий снег товарищу. Но это облегчало на минуты. Измучившись, к вечеру тот как-то судорожно заснул.

Ночью Георгий сквозь дрему услышал, как к их изножью подошли и остановились. К Георгию прикоснулись чьи-то руки:

— Ты, вставай. Хилый отсюда.

Георгий увидел Пшеничного с огромной, брускового железа шуровкой в руках во главе отряда воров. Эту шуровку для печек килограммов на десять называли «шутильник». Георгий поднялся и отошел в сторону. Он решил, что Розгина вдобавок грабят на одеяло, пальто, чемодан.

— Вставай, сука прокурорская! — крикнул Пшеничный.

Розгин в припадке забился под одеялом.

Тогда Пшеничный, размахнувшись «шутильником», закричал:

— Проверим!

С размаху ударил по ногам, еще и еще раз.

Розгин не кричал, дергался, извиваясь. Воры стащили его на пол, окружили толпой, подняли на руки. Высоко подбросили вверх и разошлись в стороны, дав телу упасть плашмя. Потом подняли снова, и опять взметнули вверх.

Полугруп выволокли из палатки, бросили в снег.

Чемодан Розгина разбили. Растащили пожитки. Обнаружили письма, стали читать вслух. Писала жена из Москвы о необходимости сохранять ему свое здоровье. Один из слушателей сказал:

— Напишите ей, что сейчас он принимает холодные ванны. Воры рассмеялись.

3

Утром на снегу от Розгина осталась лишь вмятина. Труп, как полено, оттащили за колючку.

Было 31 декабря 1937 года.

На вышках стыли стрелки из специального карательного отряда. Дошли слухи, что расстрелы опекает спецопергруппа из Москвы под командой капитана Кашкетина. Перед ее прибытием доставили

четыре станковых пулемета. Малорослого Кашкетина никогда не видели без темно-синих очков.

Георгий, переживая гибель Розгина, лежал в одиночестве. Он смотрел на противоположные верхние нары, где евангелисты молились. Седовласый отец Егор после молитвы спустился к бочке с водой у входа. Он помыл руки, аккуратно протер лицо, медленно разгладил усы и бороду. Сев на краешек нар, задумался. До «приема пищи» было еще время, да отцу Егору редко она доставалась. Он подошел к уже пустым корзинам, и комендант вскрикивал:

— Зачем тебе есть? Никогда не работаешь.

На фоне всеобщего угнетения веселились только воры. Правда, слово «вор» им не очень нравилось, они любили величать себя «жуликами». Когда у Георгия, наконец, украли пальто, он отозвал Пшеничного в сторону и попросил помочь с возвратом. Пшеничный оскорбился:

— Я тебе предводитель жуликов за всю масть, что ли?

Троцкисты, по своему обыкновению, толпились в проходе, вполголоса говорили на политические темы, стараясь выражаться иносказательно.

В декабре «на кирпичики» брали еженедельно. Но старожилы палатки таяли медленно. Утренних же новичков, бывало, вечером уводили в никуда. Перед последним их этапом оперуполномоченный ошарашивал каждого новой, расстрельной статьей Уголовного кодекса. Многих из молодых, еще не потерявших вольную полнотельность, вели на Обдорск даже без задержки в палатке.

После смерти Розгина Георгий изредка беседовал с Симоновым, партийным работником, выдвинувшем из крестьян. Симонов, по мнению Георгия, как бы помешался своим незамысловатым мужицким умом от прелестей высшего сталинско-партийного образования.

Симонов, очнувшись от дум, говорил:

— Ты понимаешь, в области абсолютной индифферентности и максимального скептицизма марксистская точка зрения исключает парадоксы правопорядка.

Георгий вполне серьезно поддерживал:

— Гав ду ю плереди хавтайн, гуд бай гетобен, виль зер пис гемахтен.

— А это что такое? — спрашивал Симонов.

— Это твоя мысль по-испански, поэтому короче,— с наузой отвечал Георгий.

Он смотрел на отца Егора, скорбно разглядывавшего блатных. О чем этот думает? О том, что уголовники порождение того же общества, осудившего их на каторгу, а теперь и на смерть? Христианское удивление. Действительно, что же это? — задумался сам Георгий. Самоочищение общественного организма или результат его идей, искалечивших и выбивших из колеи миллионы, сделав их уголовниками, а нас врагами народа? Ну, с нами понятнее, а вот среди тех большинство психически неполноценные. Не перевоспитывать, а лечить их надо в психушках. Расстрелять, конечно, дешевле. Коса скосит и «социально близких». Как это сами блатные просто говорят? «Навару с нас нет, а без навару человек не нужен». Отчего же четвертый месяц и воровскую головку, и Георгия тоже не бес-

покоят? Неужели мала пропускная способность кирпичиков? Или кому-то все же повезет?

Днем Георгий слушал вой пурги и вопрошал сам себя: «Неужели и мы исчезнем так же, как улетает снежная пыль над впадиной уснувшей Усы? Неужели жизнь наша крутящий лишь миг таких же студеной ураганных колец? И для вечности она столь пустякова, что не стоит любить и плакать о себе подобных?»

Георгий в ознобе этих мыслей уснул под дьявольскую какофонию. Ему снилось, что он стоит в огромном пустынном коридоре и молится: «Господи, избавь меня от однообразия!»

Он проснулся поздним вечером в холодном поту. Был предновогодний вечер. Где-то на воле люди улыбались друг другу. Они не могли вообразить себе эту палатку в тундре. А ведь обязательно и сейчас какого-нибудь принаряженного гражданина поведут прямо от праздничного стола к черной машине. Господи, хотя бы сегодня спаси беспечных счастливых и помилуй!

У воров тут тоже праздники. Вот и сегодня один сыпал из мешочка в чашку серую муку, разводил ее водой. Пусть без соли, пусть насухую, но — на печке печь лепешки. Троцкист, подсматривающий за поварскими приготовлениями, был бледен от голода. Он говорил Георгию, давясь слюной:

— Вы из Москвы? Да, Москва хороший лагпункт, там есть все.

Ему было невозможно отвести глаза от чашки с мукой:

— Вы знаете, я так бы и съел в сыром виде.

У внимательно помешивающего тесто вора вожаденно светились глаза. С корешами он поделится, с фрайерами нет. Не потому что жалко, авторитетному вору скаредность неведома. Невозможно ему унижить свое воровское достоинство. «Вор» — это человек, остальные — «черти». «Черти» — из «дьяволов» — работяг и «змеев» — крестьян. Фрайера предназначены для того, чтобы их «пасти», коли что-то имеют, до ограбления. Потом можно умертвлять. Вор в лагерном общегитии редко бывает добродушным к инакомыслящим. Однако после хорошей еды склонен пошутить. Он поднимается на верхних нарах и звонко кричит:

— Фрайера! Кубань горит!

Георгий тоже не отрывал взгляда от мучной жижи, затем прислушался к бормотанию возникшего рядом отца Егора:

— Дух целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви даруй рабу Твоему.

Георгий поднял на него глаза.

Отец Егор возвысил голос:

— Смотри, Георгий, сколько здесь разных людей и какие они, эти люди. Разберись в них. Ты еще будешь жить!

«Почему буду?» — едва не спросил Георгий.

Жить Георгию хотелось. Казалось, что не будет конца и края тюрьмам и лагерям, а жить хотелось. Будущего не было, прошлое походило на настоящее. Арестованный за обычные для свободного человека в свободной стране мысли, он давно убедился в силе афоризма — кто перед Богом не грешен и перед царем не виноват?

Что ж, продолжал Георгий свои размышления под пологом

предновогоднего вечера, что ж, перед Богом-то, пожалуй, все грешники. А перед царем Иосифом Первым? От людей и в разгар XX века от Рождества Христова, оказывается, может ничего не зависеть.

Он вспомнил рядовую историю московского рабочего, доставленного на Воркуту по статье 58 пункт 6 — шпионаж. По дороге домой он зашел на Белорусский вокзал за папиросами. Около киоска двое в штатском пригласили его в комнату местного коменданта НКВД. Забрали документы, задержали «до выяснения». Вечером отвезли на Лубянку. 9 месяцев его пытали, заставляя подписать «шпионские» показания. Он устоял и все же получил 10 лет.

Зная эту быль, Георгий уговорил однажды своего приятеля, ээка, ведающего учетно-распределительным столом зоны, заглянуть в сопроводилку парня. То был забытый местными служаками, долго валявшийся в закромах сейфов пакет с пятью сургучными печатями по углам и в центре. Вскрывать его имел право лишь главный оперуполномоченный информационно-секретного отдела, но приятель решился и извлек Меморандум Особого совещания, где значилось: «Гр-н... был задержан на Белорусско-Балтийском вокзале при покупке папирос в табачном киоске, заподозрен в шпионаже в пользу Германии. На протяжении следствия никаких данных по обвинению его в шпионаже обнаружить не удалось. Ввиду подозрения в шпионаже гр-на... заключить... сроком на 10 (десять) лет...»

Ну какая разница — от табачного ларька, с тротуара, из постели возмут и исключат тебя из людей?

Сегодняшний день на многое распахнул внутреннее зрение Георгия. После фразы отца Егора Георгий решился на раздаче паек подойти к коменданту Бухарцеву.

Бухарцев был пьян и снизошел до разговора:

— До каких пор тут будут держать? Кого как. Часть людей числится за начальником лагеря. Другие — за оперуполномоченным. Вы находитесь в списках оперуполномоченного.

Это было самым страшным. Клиентуру «опера» отправляли на кирпичный завод.

4

В новогоднюю ночь был и концерт. Никакой филармонии не удалось бы провести его снова. Его нельзя было повторить. Он был последним для всех исполнителей.

Троцкисты хором пели песню своего поэта Аграновского. Его слова на мелодию переложил, вероятно, секретарь Троцкого Игорь Познанский, не расстававшийся со скрипкой в футляре. Он давно ушел на Обдорск. Слившись в печальной тональности, хор вторил заунывному ветру в тундре:

За Полярным кругом
В стороне глухой
Черные, как уголь,
Ночи над землей.
Волчий голос ветра
Не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета

В эту мглу и жуть.

Там, где мало солнца,
Человек угрюм,
Души без оконца,
Темные, как трюм.

Звонких песен юга
Больше не пою
И с былым, как с другом,
Молча говорю.

Мне так часто снится
Белое крыльцо,
Длинные ресницы,
Смуглое лицо.

Ночи одиноки,
Мнится, ты не спишь,
Обо мне, далеком,
Думаешь, грустишь.

Не ищи, не мучай,
Не томи себя,
Если будет случай,
Вспомяни меня.

За Полярным кругом
Счастья, друг мой, нет.
Лютой снежной вьюгой
Замело наш след.

Один из воров встал и, подбоченившись, объявил:
— Это фрайерская песня, мы ее не поем. Жулики! Давай нашу!
И они грянули:

Жил я раньше на Полянке,
Грабил весь народ.
Фрайердохнет на Таганке,
Буря над Лефортовым поет.

За червонцы я сюда приехал,
За червонцы я ее люблю.
Будь она коса, горбата,
Но червонцами богата.
За червонцы я ее люблю.

Гад я буду, не забуду,
Изуродую Иуду.
Почему нет водки на Луне?
Да, почему нет водки на Луне?

Вступил Жорка Ленинградский со старинной воровской песней.
Он отдал ей душу:

Я как коршун скитался по свету,
Для тебя я добычу искал,
Воровством, грабежом занимался
И теперь за решетку попал.

За решеткой сидеть очень трудно,
Часто, часто болит голова.
Ах, зачем ты меня позабыла,
Дорогая голубка моя?

Меня судьи неверно судили,
Заточили в глухую тюрьму,
Мою молодость навек сгубили,
Погубили жизнь всю мою.

На пороге убогой избушки
Меня ждет престарелый отец,
Я упал бы в объятия старушки,
Но ведь скоро наступит конец.

Молодой вор, лежавший на нарах против Георгия, когда-то любил цыганку. Он совершал для нее дерзкие «скачки» на квартиры, «дербанил» награбленное на богатых «дуванах», но самым незабываемым было то, как он перебирал струны гитары вслед романсам продавшей его подруги. Вор со слезами рвал ворот в припеве:

Где же ты, моя измена?
Мое сердце песней подогрей.
Купатынцы кумарено
Прсят ходу поскорей!

Грузин, преподаватель музыки, отводил душу в неаполитанских песнях...

«Вот оно — общее! — подумал Георгий. — Неважно, как эти люди именуют себя, чем занимаются на земле... Нет никакого значения перед входом к Господу Богу!»

С нар над Георгием прыгнул дурашливый на вид Баланда: — Жулики! Теперь я чего-нибудь покажу!

Баланда преобразился: харя вдруг исказилась миной благородства:

— До революции говорили: «маменька», «папенька» и происходила любовь.

Он пал на колени и, тряся лохмотьями, изобразил светскую позу поцелуя руки у дамы. Громко чмокнул, прижал лапы к груди.

— А теперь? То ли дело теперь!

С гримасой ужаса Баланда пустился по кругу в лезгинке, молниеносно поворачивался на носках, словно был в черкесске и влитых мягчайших сапогах, взвизгивая:

— Асса! Асса!

Воры ритмично били в ладони.

Кавказцы следили ошеломленными взглядами за фигурой Баланды, летящей над кругом печного огня. В их памяти возникли призраки далеких горных вершин. Баланда несся от печки к печке по проходу, лихо заломив сгиб руки к загривку:

— Асса!

«Все одно подыхать! Жги отходную!» — вопило его лицо. Один кавказец не выдержал, сорвался к Баланде и, сверкнув глазами, взвизгнул:

— Асса!

Палатка ревела:

— Асса! Жа-а-рь! Асса!

Другой кавказец вылетел стрелой, затем еще двое! Чертовым ходуну шла пляска. Палатка содрогалась от гогота и свиста.

На вышках с перепугу начали стрелять в воздух.

Пришлось успокаиваться.

Нары благостно засыпали. Вдруг крикнули из воровского кутка:

— Жулики! Карзубый помер!

Карзубый в последние дни отплевывался кровью из дырявых легких.

Кто-то заметил:

— Чего ж спать с упокойником? Выкиньте на волю, там подберут.

5

В январские дни воров притаились. Они постоянно что-то обсуждали с Пшеничным. Через своих в комендатуре они наладили прочную связь, тянущуюся в ближайший лагерь и даже в тундру к оленеводам. У них стали чаще появляться продукты и табак взамен ворованных вещей. Но для рынка лучше всего подходили деньги.

Однажды в ночное ненастье Георгий тихо переговаривался с соседом, сидя на верху нар, над печкой. В брезент бил снежный ветер, и хлопал входной клапан. Лампа над Георгием ярким пятном высвечивала середину прохода.

Внезапно он увидел, как кучка воров с Малолеткой, едва ступая, несет на руках спящего старого армянина в лохмотьях. Георгий рассмотрел младенческую безмятежность лица старика, согнутые в опасливом напряжении колени воров, старавшихся не дышать на него.

Армянин вдруг открыл глаза. Старик не успел вскрикнуть. Малолетка свободной рукой сдавил его горло. Глухо пронесся хрип.

Воры стремительно унесли тело к себе.

На нарах нацменов вскоре панически закричали, там началась суматоха. Кавказцев и азиатов вымело из палатки. Они истошно взмолились о помощи. Вой пронизывал режущий крик мусульман:

— Алла-а-а! Бисмул-ла-а-а!

Порывы плача катились в беспросветную тундру. Стрелки на вышках прицельно держали винтовки стволами вниз. За проволоку не бежали — стрелять нельзя.

Утром в негнущемся, оледенелом рванье нацмены вернулись в палатку. Понуро встали в длинную очередь, выстроенную уголовниками для повального грабежа. Конвойные воры слаженно подводили каждого к столам, за которыми кабинетно восседали главные управители из паханов. Одевание с разоблачаемых догола передавали подручным для осмотра. Оперативным опытом обысков в тюрьмах они владели безупречно. Один из надзирателей разъяснял:

— Раздевайтесь организованно, суки. Бить не будем, вы не в органах.

Одежду дотошно прощупывали, пороли подкладки, отрывали подошвы обуви.

Георгия направили к столу Пшеничного. Его сотрудники изучающе осмотрели Георгия с головы до пят. До нитки, очевидно, обследовали только заподозренных в заначках. Георгий все же стянул с себя рубаху, глядя на Пшеничного. Тот отвернулся. Адъютант-разведвала спросил:

— Гонтрики есть?

Георгий опустил глаза на свои изорванные ботинки:

— Они старые.

Другой вор уточнил:

— Не то. Деньги, спрашивают, у тебя есть?

Георгий посмотрел на переводчика и отрицательно качнул головой.

Георгия отстранили и отвели к одевающимся. Троцкист, напяливающий пиджак с разрезанными в крылья рукавами, подмигнул ему:

— Грабят всесторонне: и государство, и родные ему «социально близкие».

Неподалеку орудующий вор оглянулся на них:

— Все равно не мы, а государство замачивать вас будет!

У задушенного армянина, взятого ночью на пробу, в рванине нашли деньги — даровита воровская разведка. И четкость при шмоне, отметил Георгий, повыше чекистской.

Несколько десятков блатных без помех, методично проверили, раздели и ограбили двести «незаконных».

6

Операция блатных как бы подытоживала и планы кашкетинских головорезов. Февраль клонился к весне. Нары пустели ежедневно.

Весна приспевала, хотя март брел в метелях. В предпоследнюю, прикинул Георгий, команду взяли цвет коды с Пшеничным, Сенькой и их любовниками, а также палаточных троцкистов до одного.

Троцкисты не могли идти от истощения морозом и голодом, и их посадили, положили в двое розвальней, запряженных клячами. Уголовные зашагали следом. Изнуренных лошадей, тоже еле державшихся на ногах, вели под уздцы. Багрово сияли опухшие от пьянства рожи конвоиров. Разводящий шел впереди вразвалку, с наганом в руке. Он знал, куда вел.

Как и всех задержавшихся в живых, эту партию без подготовки «на кирпичиках» свернули на Обдорск. Конвой приотстал, и замаскированные в сугробах пулеметы ударили с флангов... Не поднимавшихся с саней троцкистов перестреляли из наганов.

Вор, вместе с Георгием провожавший своих товарищей от палатки, медленно проговорил:

— П... нашему казачеству.

Возле огня печей для кучки неизрасходованных очередников освободилось много места.

Небольшая свора блатных, пошептавшись в кутке, подозвала Георгия:

— Слышь, ты мужик неплохой. Был бы б..., разрезали б твое пальто на куски и бросили под нары. На, носи его на здоровье.

— Ты не волнуйся, казню я не больно.
Больно живым, а ты мертв уж, довольно!
Жизнь отпустил тебе Бог через край —
Выпил ты всю. На себя и серчай!

Зла не держу на тебя, бунтаря.
Только скажу, возмущался ты зря.
Жил бы, как все, в послушаньи, неспешно,
Тайно грешил бы, как прочие грешные.

Ты же пошел против власти — и что ж?
Руки в цепях, балахон из рогож.
Против властей не нашлось еще силы:
Власть, она, брат, и Христа пригвоздила!

Лизе Леонской

Вспоминаешь, словно сытой рукой срезаешь мясо с кости.

Мы сидим за чаем на открытой веранде, и она, одетая в легкое ситцевое платье в оранжевых крупных цветах, не сводит с меня своих темно-сине-серых глаз с густыми светлыми ресницами, и у меня от этого взгляда щекочет под ложечкой. Или еще. Мы гуляем по морю, я поглядываю на ее птичий, в золотых кудрях профиль, и она, спотыкаясь о неровности пляжа, о камни и коряги, как бы инстинктивно ища опоры, берет меня под руку, и мне кажется, что моя рука перестает быть моей, она холодеет и деревенеет, словно ветка, которая ждет, чтобы птичка присела на нее, и тогда все дерево затрепещет листьями, захрустит корой. Или еще. Мы уже уезжаем. Собраны вещи, закрыты ставни. Я иду проститься: «Мы уже уезжаем». — «Мы встретимся, как только я приеду. Ты будешь ждать меня?» И снова, и снова чувствуешь, как по телу разливается немислимая сладость, от которой трескаются губы, расширяются зрачки. Или еще. Мы играем в карты, кто-то принес сигареты, и в комнате — густое сизое облако. Она стоит за спиной, смотрит в мои карты и как бы невзначай гладит меня указательным пальцем по шее. Потом, чтобы лучше разглядеть карты, кладет руки мне на плечи и упирается подбородком мне в затылок. Я делаю вид, что меня увлекает игра, я развязно смеюсь, закуриваю, выдыхаю дым ей прямо в лицо, она просит меня подвинуться и садится рядом на стул, чтобы лучше видеть карты, и я краснею всем телом, всеми внутренностями, я накаляюсь, как спираль кипятильника, я чувствую, как по моему лицу катится пот, и, хохоча как можно громче, кидаю на стол дам и валетов, пики, трефы и козыри, опустошая тылы, обезоруживая атаку. Или еще. «Давай, я помогу тебе», — и она протягивает мне секатор. Мы вместе обрезаем сухие веточки на кустах и деревьях, я вижу ее в голубой листве, засматриваюсь, ранюся секатором и с улыбкой на губах зажимаю пальцами кровоточащую рану. «Покажи!» — Она берет пораненный палец, на котором в багровых сгустках пенится кровь, и подносит его к губам... Или еще.

Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»? Слова! Капают по капле, шумят как дождь, шуршат как листья. Текут рекой, пенятся в бокале. Раздаются эхом, пульсируют в разросшейся до размеров пустой комнаты голове. Как туман над городом, сквозь запотевшие стекла, как туман над чужим городом... Громкая полемика в прокуренной комнате, скрип отодвигаемых стульев,

музыка сквозняков и скрипящих окон! Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»?

Может быть, кто-нибудь сказал ему? Позвонил или пришел? Так, за чашкой чая, по-дружески. Нет, не так. Он проснулся утром. Неуютный, ранний свет сквозь шторы. Замерзшие ноги под одеялом. Он понял сам. Где она? Тихо. Вышла на минутку? Ушла к портнихе, постукивая по мостовой каблучками? Вчера ушла и до сих пор не вернулась? Или, может быть, просто вышла на минутку? Нет, не так. Он понял сам. За чашкой чая. Смотрел вечером телевизор. Подошел к окну. Вдохнул воздух через открытую форточку. Посмотрел вниз. Он понял сам. Они сидели в кино. Она громко смеялась. Они что-то обсуждали по дороге домой. Он взял ее под руку, и она долго рассказывала ему о том, что было неделю назад. Он понял сам. Когда ехал домой, кутаясь в шарф и шевеля замерзшими пальцами в холодных перчатках. Нет, не так. Это был теплый вечер. Обычный, дождливый, летний (осенний?) день, кричали чайки, пароходик медленно подходил к причалу, все лавочки открыты, торговец коврами, как всегда, один в своем магазинчике допивает двадцатую чашку кофе, в ожидании того единственного в неделю, в месяц клиента, который, долго выбирая и советуясь, наконец-то купит ковер, и снова недели и месяцы, дети поутру бегут в школу, мимо проезжают, порывая, автомобили, хозяйки идут за покупками и возвращаются к полудню с корзинками, полными зелени и овощей. Блестят вымытые стекла витрин, по городу разбредаются продавцы газет, мы втроем в чужом городе.

Я увидел их за завтраком. Мы были втроем. Небольшая столовая в уютном пансионе. Они сидели за соседним столиком. Теплые булочки, масло, варенье. Масло тает на теплом хлебе. Мы были втроем. Они сидели за соседним столиком. Он — высокий, худощавый, с небольшим золотым перстеньком на указательном пальце. Аккуратные, чистые, маленькие белые руки. Пишет, рисует, шьет? Разговаривает по телефону с подчиненными? Спрашивает у хозяйки, откуда можно позвонить. Ему нужно позвонить. Он хочет позвонить. Он должен позвонить. Она отворачивается. Она не спрашивает, куда. Горло, заматанное шарфом. Ангина, простуда? Просто побаливает горло? Театр? Болит голова и никуда не хочется идти? Мы втроем в чужом городе. Нет, не так. Мы столкнулись еще в поезде. Мне нужно было пройти в конец вагона, а они стояли обнявшись у окна. Она дала мне пройти, и я сказал «спасибо». Он — высокий, худощавый, с небольшим золотым перстеньком на указательном пальце. Аккуратные, чистые, маленькие белые руки. Пишет, рисует, шьет? Он даже и не обнимал ее, просто стоял, опершись рукой о стенку. А она стояла под его рукой. Он, казалось, тысячу, сотни тысяч раз так стоял, опершись о стенку, а она стояла под его рукой. Нет, не так. Мы столкнулись еще на улице. Они что-то обсуждали, решали, стоит ли им здесь останавливаться. Тихо соглашались друг с другом. Им не нравилась лестница, ведущая в холл. Но потом... Нет, не так. Я сказал, что давно знаю это место. Недорого, чисто, близко от центра. Я видел вечером, как он брал в холле газеты. Мы впервые поздоровались. Гладкое лицо с ямочкой на подбородке. Прямые с проседью, коротко стриженные волосы. Серые улыбающиеся глаза.

Ему нужно позвонить. Он ищет хозяйку. Мы столкнулись вечером на улице. Он предложил пойти что-нибудь выпить. Когда они познакомились? Год назад? Месяц? Это их первый совместный уик-энд? Что же он ей сказал? Пришел с букетом, с бутылкой шампанского? «У тебя хорошо». Объятия, поцелуи в коридоре, капли дождя капают с плаща на пол. Ужин в светлой столовой. «У тебя хорошо». Из окна — крыши, улицы, длинные ряды блестящих запаркованных машин. Цветы на подоконнике. Безупречно ровный, чистый, белый, подоконник. На полу — мягкий ковер. «У тебя хорошо». Объятия и поцелуи. В кресле в столовой. У окна. На кухне, когда она ставила чайник. «У тебя хорошо».

Мы гуляем по морю, я поглядываю на ее птичий в золотых кудрях профиль, и она, спотыкаясь о неровности пляжа, о камни и коряги, как бы инстинктивно ища опоры, берет меня под руку, и мне кажется, что моя рука перестает быть моей, она холодеет и деревенеет, словно ветка, которая ждет, чтобы птичка присела на нее. И тогда все дерево затрепещет листьями, захрустит корой.

Что же он ей сказал? «Я перееду к тебе через неделю. Мне нужно время, чтобы объяснить с женой. Мы прожили вместе двадцать лет, мне нужно время, чтобы объяснить». Объятия, поцелуи. В кресле в столовой, в коридоре, в уютной, полутемной спальне, с покрывалом и занавесками из одной материи. Руки гладят жесткие, прямые с проседью, коротко стриженные волосы. Губы целуют серые улыбающиеся глаза.

Мы допиваем кофе. Мы говорим о городе. Мы втроем в чужом городе. Типичный средневековый европейский городок, с узкими живописными улочками. Он согласен, типичный европейский городок. Она грустно улыбается. Ей хочется затра обойти все музеи. Она любит живопись. Что же здесь еще делать, как не ходить по музеям? Мы допиваем кофе. Что же он ей сказал? «Я живу с женой уже двадцать лет. У нас взрослые дети. Ты хочешь, чтобы я, как мальчишка, положил рубашки в чемодан и начал все сначала? Зачем тебе это?» Нет, не так. Он у нее никогда не был. Это их первый совместный уик-энд. Она не одна.

Он проснулся утром. Неуютный ранний свет сквозь шторы. Замерзшие ноги под одеялом. Он понял сам. Где она? Тихо. Вышла на минутку? Ушла к портнихе, постукивая по мостовой каблучками. Он понял сам за чашкой чая. Когда сказала, что на уик-энд поедет к подруге за город. Мы вышли на улицу. Торговец коврами, как всегда, в своем магазинчике допивает двадцатую чашку кофе в ожидании того единственного в неделю, в месяц клиента, который, долго выбирая и советуясь... Что же он ей сказал? Мы втроем в чужом городе. «Ты хочешь, чтобы мы привыкли друг к другу, перестали радоваться, ты хочешь, чтобы я жил с тобой, как со своей женой? Ты хочешь разрушить чудо, волшебство, нереальность наших встреч, втоптать в повседневность то единственное, чему еще можно радоваться? Отвечай же!»

Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»? Слова! Капают по капле, шумят как дождь, несутся в ревушем потоке водопадов, оглушают и убаюкивают. Вот они! Везде, во всем, кишат

как черви, разъедают, терзают неподдающуюся твердь, кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»?

Это отнюдь не типичный средневековый европейский городок. Просто порт. Жаркое солнце, суда на приколе. Семи-восьмиэтажные блочные дома. Грязный, шумный народ на улицах. Кабаки с неприличными рисунками на дверях. По городу ходят крепкие матросики с непремненным крепким мужским духом, красными чисто вымытыми шеями, стройными напряженными торсами, жестко очерченными ягодицами. Челки, лбы, лица, наколки на руках, маленькое твердое ушко, «Кёрель». Громко смеются, сплевывают на тротуар, жаркое утро, суда на приколе, матросы драют палубу под мутным взглядом любующегося капитана. Вонючая комнатка, тонкие картонные перегородки. Я слышу каждое их слово. Женщины в длинных юбках танцуют с пьяными моряками. Он — высокий, худощавый, с небольшим золотым перстеньком на указательном пальце. Коротко стриженные с проседью волосы. Смеющиеся серые глаза. Держит трактир? Торгует наркотиками? Нет, не так.

Он пришел ко мне утром. Она заболела. У нее болит горло. Не хочу ли я составить ему компанию прогуляться по городу? Мы выходим, идет дождь. Или нет. Светит солнце, по небу, словно огромные плоские рыбы, плывут облака. Он взял зонтик. Каменная лестница, кремевые каменные дома. Площадь с фонтаном. Тихое утро. Он хочет купить газету. Он идет, постукивая зонтиком по мостовой. Не хочу ли я вечером составить им компанию сыграть в карты? Она больна, у нее болит горло. Ему нужно позвонить. Не хочу ли я вечером сыграть с ними в карты? Чтобы ее развлечь. А днем мы могли бы где-нибудь вместе пообедать. Нет, это не их первый совместный уик-энд. Так хочу ли я вечером сыграть в карты?

Мы играем в карты, кто-то принес сигареты. В комнате — густое сизое облако. Она стоит за спиной, смотрит в мои карты и как бы невзначай гладит меня указательным пальцем по шее. Потом, чтобы лучше разглядеть карты, кладет руки мне на плечи, и я краснею всем телом, я накаляюсь, как спираль кипятильника. Она сначала не хотела идти, говорила, что играть не будет. Я просил ее, она отказывалась. «Тогда и я не пойду». — «А ты иди». — «Без тебя не пойду». — «А почему ты не пойдешь? Почему? Объясни мне, почему?» Она сначала не хотела идти, говорила, что играть не будет. Я просил ее, мне хотелось, чтобы она была со мной и все видели, что она пришла именно со мной. «Тогда и я не пойду». Она согласилась. И когда мы входили в дом, я пропустил ее вперед, слегка подталкивая в спину.

Нет, это не их первый совместный уик-энд. Он не хочет оставаться с ней наедине. Что же он ей сказал? «Хорошо, если ты настаиваешь, пусть будет, как ты хочешь. Я не хочу, чтобы продолжался этот кошмар. Я перееду к тебе через неделю. Пусть будет, как ты хочешь. Но ты подумай, мы ведь с ней только друзья, мы прожили вместе двадцать лет. Неужели ты хочешь, чтобы я сломал свою жизнь, положил рубашки в чемодан, у нас взрослые дети». Ходят в школу, учатся в университетах? Давно уже не живут в большой светлой детской с обоями, на которых изображены гномики, не спят на двухэтажной кровати? Тихая столовая с большими цветами в

деревянных кадках, часы, отбивающие каждую половину часа, медный маятник. Кабинет с антикварными креслами, персидским ковром. Продавец ковров, как всегда один в своей лавочке, допивает двадцатую чашечку кофе, поджидая того единственного в неделю, в месяц клиента, книги по стенам, письменный прибор на столе. На стене гравюры. Или картина маслом? Пишет, рисует, шьет? Курит, опершись рукой о подоконник? Общие друзья, собирающиеся по четвергам и воскресеньям на ужин. Мягкий голос жены, мурлыкающий по телефону. В ванной — халат, бритва, зубная щетка. «Хорошо, если ты настаиваешь, пусть будет так, как ты хочешь».

Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»? Слова! Кружатся в воздухе, танцуют, как мошकारа над лампой, горят огнем, как волчья ягода в раскаленном сосновом бору, застывают, ложатся стопками на чердаки, забивают ящики стола, нижние ящики комода. Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»?

Утро отражается в каждой серо-зеленой кафелине ванной, всюду — сияние. Золотая струя вырывается из начищенного медного крана, дробится, рассыпается по ослепительно-белой раковине умывальника. Закрываешь глаза, набираешь в ладони воду. Что же он ей сказал? Что?!

Она сидит вечером перед трюмо. Перед ней на полочке одеколон, лосьон, туалетная вода, ватные тампоны, кремы в белых массивных баночках. Помада, кисточки, тени. Она улыбается себе в зеркале. Втирает крем в кожу, проводит руками по волосам, очерчивает пальцем брови. Что же он ей сказал? Он пришел с букетом цветов. С бутылкой шампанского. Он обнял ее. «У тебя хорошо. Я еще никогда не был так счастлив». Покрывало и занавески из одной материи. Худые плечи. «Обещай мне не ревновать меня. Мы живем с женой уже двадцать лет. Мы просто друзья». Она сидит вечером перед трюмо. Промокает салфеткой крем. Находит себя постаревшей. «Это не кончится никогда, никогда!» Нет, не так. Он никогда у нее не был. Или был всего один раз, случайно, когда квартира была свободна. Она сказала ему об этом заранее. И он долго готовился к этому визиту. По-тихому, чтобы не было заметно. Провел в ванной лишние десять минут. Провел ладонью по щекам. Как всегда ушел утром в бюро. Они встретились утром. Чудесный солнечный день. Кофе в больших чашках. Хлеб, масло, варенье. Масло тает на теплом хлебе. В ванной он наткнулся на длинный темный махровый халат. Чужой халат. Не его халат. Чужая бритва на полочке в ванной, чужой лосьон. Не его лосьон. Они расстались с улыбкой.

Мы сидели в кафе напротив пансиона и обедали. Они пригласили меня пообедать вместе с ними. Она говорила, что мясо подгорело и пересолено, а салат слишком жесткий. Ей все не нравилось. Она была раздражена. Они расспрашивали меня с интересом, они все время говорили со мной. Я что-то рассказывал, они смеялись. Им хотелось смеяться. Или нет. Они показывали, что заинтересованы в моем обществе. У нее на пальцах — ни одного кольца. Не хочет носить подаренное им кольцо? Не хочет носить никаких колец, чтобы не мешали воспоминания? У нее красивые, ровные пальцы.

Пишет, рисует, шьет? Загибает складки, поливает цветы? Гладит коротко стриженные с проседью волосы? Помогает застегнуть манжеты?

«Давай я помогу тебе»,— и она протягивает мне секатор. Мы вместе обрезаем сухие веточки на кустах и деревьях, я вижу ее в голубой листве, я засматриваюсь, ранюсь секатором, и она подносит к губам мой в бордовых ступках пораненный палец. Я роняю секатор. Раскрытый секатор в земле. В траве под яблоней. Я целую ее в теплые волосы, в поднятые на меня удивленные глаза, в шею, в плечо, в лямку ситцевого в оранжевых крупных цветах сарафана. Она не знает, что ей делать. Она прижимается лбом к моему плечу. Я не знаю, как достать ее щеки, губы. Мы стоим так, изнемогая от неловкости, не решаясь разойтись, не понимая, как быть дальше. Нас спугнула птица, сорвавшаяся с соседнего дерева, которая с безумным криком бросилась прочь.

Матросы громко разговаривают, плюют на тротуар. Смотрят друг на друга воспаленными, полными презрения глазами. Рука на рукоятке. Ножи, финки, кортики, ласковые лезвия. Он каждый вечер грубо овладевал ею. Я слышал это через картонную перегородку. Потные плечи, волосы на затылке, вздувшиеся жилы на шее. Он каждый вечер грубо овладевал ею. Гадкий причал. Чайки жадно, оголтело набрасываются на плавающий по воде мусор. Матросы курят, кричат, драют палубу под мутным молчаливым взглядом капитана.

Между нами ничего не было. Нас спугнула птица. Между нами ничего не было. «Как ты посмел? Мы завтра же уезжаем». Собраны вещи, закрыты ставни.

Он понял сам. Смотрел телевизор, подошел к окну. Он понял сам. Когда она сказала, что поедет на уик-энд к подруге за город. Он спешно, с пульсирующими висками, потными руками открыл ее сумку. Она не взяла сапоги, теплые носки. За окном дождь. Будет гулять по промокшему, струящему как сумасшедший фонтан саду в туфельках и чулках? Он понял сам. Взял газету. Не сказал ни слова. Или нет. Он сказал ей, что советует взять теплые вещи, ведь на улице дождь (снег, метель?).

Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»? Капают по капле, шумят как дождь, рассыпаются в воздухе яркими фейерверками, душат, оглушают, сыплются как песок сквозь пальцы. Водят хороводы, кружат голову. «Мы встретимся, как только я приеду! Ты будешь ждать меня?»

Молчаливый воскресный обед. Позвякивают приборы! Взгляд — в тарелку. Форточка. Штора. Все как всегда по воскресеньям уже много лет подряд. Друзья два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Карты, сигареты, вино? Разговоры о делах и о женщинах? О женщинах в присутствии жен? Нет, разговоры о политике и о делах. Первая ночь — первая черта. Он был у нее вчера. Когда квартира была свободна. Они целовались в коридоре, потом в столовой в кресле. Он ушел разбитый, разгромленный. Положит в чемодан рубашки? Захлестнули чувства («Я никогда еще не был так счастлив»), уйдет от жены, с которой прожил двадцать лет? Он боялся встретить знакомых, он шел домой пешком, или нет,

ехал домой на машине, мысленно сочиня трагическую историю, чтобы оправдать заплаканное лицо перед женой. Молчаливый воскресный обед. Взгляд в тарелку. Неужели все ломать из-за краткого головокружительного удовольствия, которое длится всего секунду, между вдохом и выдохом? Он предложил жене пройтись. Взял с собой зонтик. По дороге купил газету. Шел, постукивая зонтиком по мостовой. Спокоен, тверд, уверен в себе. Или, может быть, он решил все еще раньше, прежде чем позвонить в ее дверь, предвидя, страхуясь?

Они не приходили целый день. Они не выходили из своей комнаты. Я не видел их и не говорил с ними. Вечером он зашел ко мне и сказал, что завтра утром они уезжают.

По дороге — за площадью с фонтаном — цветочный магазин. За стеклом в витрине — сухие зимние букеты, в огромной белой вазе — розы. На улице, перед магазинчиком в небольших кувшинчиках ирисы, ландыши, крокусы, маки. В горшках — герань. Маки — с большими розовыми поднятыми вверх языками, гвоздики, зеленые разлапистые веточки, астры с белыми серединами и острыми лезвиями растопыренных синих лепестков. Полноватая хозяйка в нарядном фартуке щеточкой сметает с прилавка комья грязи, протирает влажной тряпкой горшки и вазы, поправляет сбившиеся от ветра ценники. Мы втроем в чужом городе. Что же он ей сказал?

Шубы, меха. Стройные, пластмассовые черные и коричневые манекены. Без париков, с маленькими носами, близнецы, с немного вздернутой верхней губой. Песцы и норковые манто на голых плечах из коричневой пластмассы. Блузки и свитера, высокие воротники на молнии. Неужели из-за краткого головокружительного удовольствия, которое длится всего секунду между вдохом и выдохом... Мы сидели на открытой веранде, и она, одетая в легкое ситцевое платье, в оранжевых крупных цветах, не сводит с меня светло-сине-серых глаз с густыми светлыми ресницами и все рассказывает и рассказывает, водит пальцем по квадратам на скатерти. Большие плечи, узкий пояс, клетчатая юбка, высокие сапоги, шарф и юбка из одной материи. Узкие борты на пиджаках, рубашки в широкую полоску, книжный магазин, открытки в вертушках. Голова набита впечатлениями, как фотоаппарат туриста. В башне на площади бьют часы.

Красивые рассуждения на длинном стебле. Кто сказал: «Это ничего не значит, это только слова!»? Капают по капле. Шумят как дождь. Он расплатился с хозяйкой пансиона. Она пожелала им счастливого путешествия. Открытая форточка. Колеблющаяся фиолетовая в мелкую клетку занавеска. Холодные ноги под одеялом. Матросы драют палубу. Птичий в золотых кудрях профиль. Что же он ей сказал? Это их последний совместный уик-энд? Он завел мотор. Она села на заднее сиденье. Город в рождественской суете. Переливается огнями, утопает в запахах. В башне на площади бьют часы. Город в рождественской суете, музыка и голоса, бесконечная, кружащаяся, чарующая fuga, теплая, баюкающая, рождественские подарки, и ты как всегда, с замирающим сердцем, развязываешь ленточку, разворачиваешь бумагу.

I

Аткудаштэвонь, с раздражением подумал Габриель. Просто сил нет! Они, наверное, вообще не моются. Правда, в газетах пишут, что в Париже нет даже одиннадцати процентов квартир с ванными, так что удивляться здесь нечему, но ведь на худой конец можно мыться и так. Судя по всему, им просто неохота тратить на это силы и время. Но с другой стороны: вряд ли это самые нечистоплотные люди Парижа. С чего бы? Их свел здесь случай. Трудно предположить, чтоб от толпы на вокзале Аустерлиц пахло хуже, чем на Лионском вокзале. Этого просто не может быть. Но все же... Ну и запашок!

Габриель извлек из рукава шелковый носовой платок сиреневого цвета и промокнул им нос.

— Что же это так воняет! — воскликнула полноватая немолодая особа.

Разумеется, себя она в виду не имела, ибо по натуре не была эгоисткой, ее волновал запах, исходивший от стоящего рядом господина.

— Это, миленькая моя, одеколон «Тайный агент» фирмы Кристиан Фиор, — как всегда молниеносно, отреагировал Габриель.

— Ну, нельзя же так отравлять атмосферу! — продолжала женщина все с тем же апломбом.

— Если я правильно понял, ты думаешь, что твой естественный запах слаще розы. Ошибаешься, дорогуша, ох как ошибаешься...

— Слышишь? — обратилась тетеха к стоявшему рядом низкорослому субъекту, имевшему, по-видимому, возможность задираТЬ ей юбку на законных основаниях. — Ты слышишь, как меня оскорбляет этот жирный индюк?!

Смерив Габриеля взглядом, коротышка решил, что перед ним настоящий амбал, а эти амбалы — хорошие ребята, они никогда не применяют силу — уж слишком это было бы подло с их стороны. И с чувством полного собственного превосходства коротышка прокричал:

— Чего развонялся, ты, горилла!

Габриель вздохнул: опять придется пускать в ход кулаки. Эта неотвратимость угнетала его. Еще со времен палеолита насилие в человеческом обществе стало нормой. Но, в конце концов, чему быть, того не миновать, и не он, Габриель, виноват, что именно они, слабые, портят всем жизнь. Но Габриель все-таки решил дать этому сморчку последний шанс:

— Ну-ка повтори,— сказал он.

Коротышка несколько оторопел: амбал подал голос. Он не стал спешить с ответом и в конце концов изрек:

— «Ну-ка повторить» собственно что?

Он был в восторге от собственного остроумия. Но амбал не унимался. Он наклонился и гаркнул ему в ухо:

— Тошотыщасказал...

Получилось длинное шестисложное слово. Коротышка забоялся. Теперь была его очередь, теперь уже ему нужно было прикрываться какой-нибудь эдакой фразой. И она явилась ему, эта фраза, в форме александрийского стиха:

— Я должен вас просить не говорить мне ты!

— Засранец,— произнес Габриель с обезоруживающей простотой.

Тут он поднял руку так, как будто хотел дать собеседнику в ухо. Разом сдав все позиции, коротышка грохнулся под ноги своим соседям. Ему ужасно хотелось плакать. Но тут, к счастью, появился поезд, и все сразу же пришло в движение. Благоухающая толпа устремила свои многочисленные взоры к вновь прибывшим, которые стройными рядами зашагали по перрону. Возглавляли колонну деловые люди с портфелями в руках — единственным, что брали с собой в дорогу. Казалось, они были рождены именно для того, чтобы ездить по делам.

Габриель посмотрел вдале: наверняка они плетутся в хвосте — женщины всегда опаздывают. Но нет! Перед ним как из-под земли выросла девочка лет эдак двенадцати и сказала:

— Я — Зази. А ты никак мой дядюшка Габриель?

— Разумеется. Я — это он,— ответил Габриель, стараясь выглядеть как можно интеллигентнее,— да, я твой дядюшка.

Девочка хихикнула. Габриель, вежливо улыбаясь, поднял ее до уровня своих губ, поцеловал, она его тоже, и он опустил ее обратно на землю.

— Здорово попахиваешь,— сказала девочка.

— Это фиоровский «Тайный агент»,— объяснил Габриель.

— А ты помажешь мне за ушками?

— Это мужские духи.

— Вот и обещанное дитя,— из толпы наконец вынырнула Жанна Сиськиврось.— Согласился за ней приглядеть — вот и получай.

— Все будет отлично,— заверил ее Габриель.

— Не подведешь? Ты ш понимаешь, я не хочу, чтоб вы ее там всем скопом изнасиловали!

— Ну, мам! Ведь в прошлый раз ты как раз вовремя подросла.

— Как бы там ни было,— сказала Жанна Сиськиврось,— я не хочу, чтобы это повторилось.

— Можешь не волноваться,— успокоил ее Габриель.

— Хорошо, значит, встретимся здесь же, послезавтра. Поезд в шесть шестьдесят.

— Но уже на перроне, у вагона.

— Natürlich,— сказала Жанна Сиськиврось, которая в свое время побывала под немцами.— Кстати, твоя жена как?

— Спасибо, а ты не зайдешь?

— Времени не будет.

— Она всегда так, как хахеля заведет. Ей уж не до родственников,— вставила Зази.

— До свидания, дорогая. До свидания, Габи.

Отчаливает.

— Втюрилась,— прокомментировала Зази.

Габриель молча пожал плечами. Помолчал. Наконец, взял чемоданчик Зази и только тогда сказал:

— Пошли,— сказал Габриель и устремился вперед, сметая все на своем пути. За ним вприпрыжку ринулась Зази.

— Дядь Габриель, а мы поедем на метро?!

— Нет.

— Как нет?!

Она остановилась. Габриель тоже остановился, обернулся, поставил чемодан и только после этого принялся объяснять:

— Вот так: нет. В метро забастовка. Так что — ничего не выйдет.

— Забастовка...

— Метро бастует. Этот исконно парижский вид транспорта замер под землей. Контролеры побросали свои большие компостеры и прекратили работу.

— Вот мерзавцы! — воскликнула Зази.— Ах, негодня! Такую свинью мне подложили!

— Не только тебе,— заметил Габриель, стараясь быть как можно объективнее.

— Плевать! Ведь я, именно я теперь не попаду в метро, а я так ждала, так радовалась, что смогу наконец прокатиться. Все теперь к чертям собачьим!

— Ничего не поделаешь, надо смириться, дочь моя,— сказал Габриель, чьи доводы порою сильно отдавали томизмом с легким налетом кантианства.

Но, возвращаясь в сферу субъективного, взаимозначимого, он добавил:

— Давай пошевеливайся. Шарль ждет.

— О! Знаю я эти штучки,— сердито пробурчала Зази,— как раз подобная история описана в Ежегоднике генерала Вермо.

— Да нет же! Шарль — мой приятель. Таксист. Я его застолбил на случай забастовки. Понятно? Пошли!

Одной рукой он ухватил чемоданчик Зази, другой — потянул за собой девочку.

Шарль действительно ждал, погрузившись в изучение страницы газетенки, публикующей хронику «страждущих сердец». Вот уже много лет он искал какую-нибудь пышечку, к ногам которой он мог бы положить все сорок пять своих пасмурных весен. Но это сборище клуш и коров, чьи стоны доносились со страницы газеты, не вдохновляло его. Он знал их коварство и лицемерие. Его натренированный нюх сразу же обнаруживал туфту в бесконечном потоке их жалоб и различал в невинном, истерзанном жизнью агнце потенциальную волчицу.

— Привет, малышка,— сказал он Зази, не глядя в ее сторону, старательно засовывая означенные печатные издания себе под зад.

— Ну и развалюха же у него,— отметила Зази.
— Садись,— сказал Габриель,— надо быть проще.
— Проще, не проще, а пошел-ка ты в задницу,— отрезала Зази.
— Забавная у тебя племянница,— Шарль подсосал бензин и завел мотор.

Легким, но уверенным движением Габриель запихнул Зази на заднее сиденье такси и сел рядом. Зази запротестовала.

— Ты меня раздавил,— прорычала она в бешенстве.

— То ли еще будет,— бесстрастно прокомментировал Шарль.

Машина тронулась. Сначала они ехали молча, но потом вдруг Габриель привстал и величаво обвел рукой открывшуюся панораму.

— Ах, Париж! — бодро произнес он.— Какой прекрасный город! Какая красота кругом!

— А мне плевать,— сказала Зази,— мне одного хотелось — на метро покататься.

— На метро! — вдруг заорал Габриель.— Да вот оно, твое метро!

И он показал пальцем куда-то вверх. Зази недоверчиво нахмурила брови.

— Это что, метро? — переспросила она. Потом добавила с презрением: — Метро ходит под землей.

— Это наземный участок,— объяснил Габриель.

— Значит, это не метро.

— Сейчас я тебе абисню. Оно иногда выходит на поверхность, а потом опять уходит под землю.

— Заливаешь.

Ощувив полное свое бессилие (жест), Габриель, чтобы сменить тему, снова указал на какой-то объект, находящийся в поле их зрения:

— Вон там! Смотри! Это Пантеон!!! — заорал Габриель.

— Чего только не услышишь,— сказал Шарль, не оборачиваясь. Машина замедлила ход, чтобы малышка смогла осмотреть достопримечательности и повысить тем самым свой культурный уровень.

— Может, скажешь, это не Пантеон? — спросил Габриель. В его вопросе чувствовалось какое-то ехидство.

— Нет! — выкрикнул Шарль.— Нет, нет и еще раз нет! Это не Пантеон.

— Так что же это по-твоему? — спросил Габриель. Насмешливость его тона была уже почти оскорбительной для собеседника, который, впрочем, тут же признал свое поражение.

— Не знаю,— сказал Шарль.

— Вот так-то.

— Но это не Пантеон.

Что ни говори, Шарль был упрямым человеком.

— Спросим у прохожего,— предложил Габриель.

— Все прохожие — дураки,— сказал Шарль.

— Это уж точно,— безмятежно поддакнула Зази.

Габриель не стал настаивать. Он обнаружил новый объект для восхищения.

— Гляди! — закричал он.— Вот это там...

Но его тут же прервал возглас свояка:

— Эврика! Я понял! — прокричал Шарль.— То, что мы только что видели, это конечно же не Пантеон, а Лионский вокзал.

— Весьма возможно,— непринужденно отозвался Габриель, но не будем ворошить прошлое. Ты вот сюда посмотри, малышка, какая классная архитектура!!! Это Дом инвалидов.

— Ты что, совсем спятил? — сказал Шарль.— При чем тут Дом инвалидов?!

— А если это не Дом инвалидов, то што это?

— Точно не знаю, но в лучшем случае это казарма Рейи,— ответил Шарль.

— А ну вас,— снисходительно пробурчала Зази.

— Зази,— провозгласил Габриель с напускным величием (он вообще искусно владел даром перевоплощения),— если тебе действительно угодно посетить Дом инвалидов и посмотреть настоящую могилу самого Наполеона, то я готов тебя туда отвести.

— А пошел он в задницу, этот ваш Наполеон! Очень мне нужен этот болван в дурацкой шляпе!

— Так что же тебе нужно?

Зази молчит.

— В самом деле,— с неожиданной любезностью произнес Шарль,— что тебе нужно?

— В метро.

— Опять двадцать пять,— вздохнул Габриель.

Шарль молчал. Потом Габриель вновь обрел дар речи и сказал:

— Ох!

— А когда же кончится эта забастовка? — прошипела Зази, с яростью растягивая каждое слово.

— Понятия не имею,— ответил Габриель,— я политикой не интересуюсь.

— А вы, мсье, вы что, тоже иногда бастуете?

— А как же?! Приходится! Тариф-то повышать надо!

— С вашей-то колымагой, вам бы его понизить надо! Вы ее случайно не на свалке подобрали?

— Уже почти приехали,— примиренчески заметил Габриель.— Вот и кафе на углу.

— На каком углу? — поинтересовался Шарль с нескрываемой иронией.

— На углу улицы, где я вижу,— невозмутимо ответил Габриель.

— Тогда это не то кафе,— сказал Шарль.

— Как! — воскликнул Габриель.— Ты берешься утверждать, что это не то кафе?

— Опять за своё?! Хватит! — заорала Зази.

— Нет, это не то кафе,— ответил Шарль Габриелю.

— Ах да! — сказал Габриель, когда они уже проехали мимо.— Действительно. В этом я никогда не был.

— Послушай, дядя Габриель! Ты и вправду такой дурак или только прикидываешься?

— Это чтобы повеселить тебя, дитя мое,— ответил Габриель.

— Ты не думай,— обратился Шарль к Зази,— он не притворяется.

— Ну и шуточки у вас,— вздохнула Зази.

— По правде говоря, он иногда притворяется, а иногда такой и есть.

— По правде говоря!! — возопил Габриель. — Как будто ты знаешь правду! Как будто кто-то ее знает! Все это (жест) обман! И Дом инвалидов, и Пантеон, и казарма Рейи, и кафе на углу — все! Все — туфта!!

Потом удрученно добавил:

— Боже мой, как все это ужасно!

— Может, остановимся, пропустим по стаканчику? — спросил Шарль.

— Это мысль.

— В «Подвальчик» сходим?

— На Сен-Жермен де Пре? — оживилась Зази.

— Нет, ты что, девочка?! Зачем? Сен-Жермен де Пре уже давно вышел из моды.

— Ты, может, намекаешь, что я отстала от жизни? В таком случае ты просто старый дурак, — проговорила Зази.

— Слышал? — спросил Габриель.

— Чего ш ты хочешь, — отозвался Шарль, — молодое поколение.

— А пошел-ка ты в задницу со своим молодым поколением, — сказала Зази.

— Ладно, ладно, — кивнул Габриель, — мы все поняли. Может, все-таки пойдем в кафе на углу?

— На том самом углу, — вставил Шарль.

— Да, — сказал Габриель, — а потом ты у нас поужинаешь.

— Ты же меня уже приглашал!

— Приглашал.

— Чего ш ты опять?

— Я просто хотел подтвердить приглашение.

— Зачем подтверждать, если мы уже договорились?

— Ну, тогда считай, что я тебе напомнил. Вдруг ты забыл.

— Я не забывал.

— Значит, ты ужинаешь у нас, вот и все.

— Эй вы, черт вас дери, — сказала Зази, — так мы идем в кафе?

С легкостью и изяществом Габриель извлек свое тело из такси, и через несколько секунд все они оказались за одним столиком под навесом кафе. Зази тут же высказала свои пожелания.

— Мне какокалу, — сказала она.

И получила в ответ:

— У нас нет.

— Вот это да! — воскликнула Зази. — Это ш надо?! — Она негодовала.

— Мне, пожалуйста, божоле, — сказал Шарль.

— А мне молочный коктейль с гранатовым сиропом, — заказал Габриель. — А тебе? — обратился он к Зази.

— Я ей уже сказала, мне какокалу.

— Она ш сказала, у них нет.

— А я какокалу хачу.

— Это дела не меняет, — сказал Габриель, не теряя самообладания. — Видишь, у них нет.

— А почему у вас нет какокалы? — спросила Зази у официантки.

— Аббхивознает! (жест)

- Может, хочешь пива с лимонадом? — предложил Габриель.
— Какокалу хачу, и больше мне ничьо ни нада!
Все крепко призадумались. Официантка почесала ляжку.
— Рядом в кафе у итальянца есть, — сказала она наконец.
— Ну как там божоле, скоро принесут? — спросил Шарль.
— Уже несу.

Не говоря ни слова, Габриель встал и удалился. Вскоре он появился вновь с бутылкой, из горлышка которой торчали две соломинки. Поставив бутылку перед Зази, он сказал, упиваясь собственным великодушием:

- Пей, малышка.

Не проронив ни слова, Зази завладела бутылкой и начала орудовать соломинкой.

— Видишь, — обратился Габриель к своему приятелю, — ребенка важно понять.

II

- Вот и пришли, — сказал Габриель.

Зази осмотрела здание, впечатлениями делиться не стала.

- Ну что, годится? — спросил Габриель.

Зази сделала жест, который, по всей видимости, выражал ее нежелание обсуждать этот вопрос с присутствующими.

— А зайду-ка я к Турандоту, мне нужно ему кое-что сказать, — заявил Шарль.

- Понятно, — пробормотал Габриель.

- А что здесь понимать-то? — удивилась Зази.

Чтобы попасть в «Погребок», нужно было спуститься вниз по лестнице. Шарль без труда преодолел все пять ее ступенек и направился к деревянной (со времен оккупации) стойке.

— Здравствуйте, мсье Шарль, — произнесла Мадо Ножка-Крошка, занятая обслуживанием клиента.

- Здравствуй, Мадо, — не глядя в ее сторону, ответил Шарль.

- Привезли? — спросил Турандот.

- Привезли, — ответил Шарль.

- А она старше, чем я думал.

- Ну и что?

— Не нравится мне это. Я уже говорил Габи, мне, в моем доме, неприятности не нужны.

- Дай-ка божоле.

Погруженный в свои мысли Турандот молча обслужил Шарля. Шарль высосал божоле, вытер усы тыльной стороной ладони и рассеянно уставился в окно. Для того чтобы увидеть происходящее на улице, надо было задрать голову вверх, но и тогда видны были только ноги, лодыжки, полосы штанин, а иногда, если, конечно, очень повезет, можно было увидеть даже и целую собаку, бассета, например. У форточки висела клетка. Там нашел себе прибежище вечнопечальный попугай. Турандот наполнил рюмку Шарля и налил глоточек себе. Мадо Ножка-Крошка зашла за стойку и, расположившись рядом с хозяином, первой нарушила молчание.

— Мсье Шарль,— сказала она,— вы миланхолик.

— А пошла ты в задницу со своим миланхоликом,— мгновенно отреагировал Шарль.

— Вот это да! — воскликнула Мадо Ножка-Крошка.— Как вы невежливы сегодня.

— А я думал, вы вместе со мной посмеетесь,— сказал Шарль с мрачным видом.— Это как эта девчонка выражается.

— Не понимаю,— озабоченно произнес Турандот.

— Все очень просто,— пояснил Шарль.— Эта девчонка и слова не может вымолвить, чтобы кого-нибудь не послать.

— А непристойные жесты она при этом делает? — спросил Турандот.

— Пока что нет,— многозначительно ответил Шарль,— все еще впереди!

— Боже! — простонал Турандот.— Только не это!

Он обхватил голову руками и сделал неубедительную попытку оторвать ее от тела. Затем продолжил в следующих выражениях:

— Тысяча чертей!! Не хочу я, чтобы в моем доме девчонка несла такую похабщину. Знаю я, чем все это кончится. Она тут всех в округе совратит. И недели не пройдет...

— Да она приехала-то всего на два-три дня,— заметил Шарль.

— «Всего»!! — завопил Турандот.— За это время она успеет расстегнуть ширинку всем слабоумным старикашкам из моей досточтимой клиентуры. Мне не нужны неприятности, слышишь? Я хочу жить спокойно!

Покусывавший ноготь попугай Зеленуда устремил взгляд вниз, к стойке, и, прервав на минуточку свой туалет, вмешался в общий разговор:

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен,— сказал Зеленуда.

— Он совершенно прав,— заметил Шарль.— Только не понимаю, зачем ты мне все это говоришь, при чем здесь я?

— Я его в гробу видал,— с нежностью произнес Габриель,— вот только не пойму, зачем ты ему настучал, что девчонка выражается.

— Я — человек прямой,— ответил Шарль.— А потом, шила в мешке не утаишь. Твоя племянница действительно очень плохо воспитана. Разве ты такое говорил в ее возрасте?

— Нет,— ответил Габриель,— но я ведь и не был девочкой.

— Прошу к столу,— тихо промолвила Марселина, поставив супницу на стол.— Зази! — ласково окликнула она девочку.— К столу! — И осторожно начала разливать суп половником.

— Ах! Ах! — с удовлетворением произнес Габриель.— Консому.

— Ну, не совсем,— мягко ответила Марселина.

Зази в конце концов тоже села за стол. Взгляд ее был лишен всякого выражения. Как это ни досадно, ей все-таки пришлось признать, что она голодна.

Вслед за бульоном на столе появились кровяная колбаса с картошкой по-савойски, гусиная печень (Габриель выносил ее из кабре и ничего не мог с собой поделаться, так много ее там было), затем невероятно сладкий десерт и уже разлитый по чашечкам кофе, бикоз. Шарлю и Габриелю предстояло выйти на работу ночью.

Шарль ушел сразу же после рюмочки вишневки с гранатовым сиропом — сюрприза, ожидаемого с самого начала ужина. Что касается Габриеля, то на работу ему надо было не раньше одиннадцати. Он вытянул ноги под столом, так, что при этом значительная их часть оказалась за его пределами, и улыбнулся застывшей на стуле Зази.

— Ну что, малышка, — сказал он так, между прочим, — а между прочим, не пора ли нам спать?

— Ты кого имеешь в виду? — спросила Зази.

— Как кого? Тебя, разумеется, — ответил Габриель, заглывая наживку. — Когда ты дома обычно ложишься спать?

— Надеюсь, здесь не будет так, как там.

— Да, — ответил Габриель и понимающе кивнул.

— Меня же сюда отправили, чтобы здесь не было, как там, правда?

— Конечно.

— Ты просто так со мной соглашаешься или и вправду так считаешь?

Габриель посмотрел на Марселину. Она улыбалась.

— Видишь? Такая маленькая, а как рассуждает! Непонятно, зачем ей в школу ходить, и так все знает, — сказал Габриель.

— А я хочу ходить в школу до шестидесяти пяти лет, — заявила Зази.

— До шестидесяти пяти? — изумился Габриель.

— Да, — ответила Зази, — я хочу быть учительницей.

— Неплохая профессия, — вкрадчиво заметила Марселина, — и пенсию будут платить.

Последнюю фразу она произнесла почти машинально, ибо в совершенстве владела французским языком.

— А пошла она в задницу, эта пенсия, — сказала Зази. — Я не ради этого хочу быть учительницей.

— Ну, разумеется, это и так ясно, — сказал Габриель.

— А тогда ради чего? — спросила Зази.

— Сейчас ты нам сама все объяснишь.

— А ты сам что, не догадываешься?

— Какая нынче головастая молодежь пошла, — обратился Габриель к Марселине. И к Зази: — Ну так? Почему ты хочешь быть учительницей.

— Чтобы детей изводить, — ответила Зази. — Тех, кому будет столько, сколько мне через десять, двадцать, пятьдесят, сто, тысячу лет. Всех их можно будет мучить в свое удовольствие.

— Ну что ш, — пробормотал Габриель.

— Я буду с ними последней сволочью. Они у меня пол лизать будут, тряпку жевать, которой доску вытирают. Я им всю задницу циркулем истыкаю. Буду раздавать пинки направо и налево. Сапогами лупить, вот такими, зимними, высокими (жест), с большими шпорами. Я им все жопу исколю!

— Ты только одного не учитываешь, — спокойно заметил Габриель. — Судя по тому, что пишут в газетах, система просвещения развивается сейчас совсем в ином русле. Можно сказать, совсем в противоположном. Мы пришли к тому, что воспитывать

нужно лаской, пониманием, добротой. Все так считают, правда, Марселина?

— Да,— тихо отозвалась Марселина.— А что, тебя в школе очень обижают?

— Пусть только попробуют!

— Статьи говоря,— продолжил Габриель,— через двадцать лет вообще никаких учителей не будет: их заменят учебные фильмы, телепрограммы, электроника и всякое такое. Об этом тоже недавно писали, правда, Марселина?

— Да,— тихо отозвалась Марселина.

Зази на мгновение представила себе это электронное будущее.

— Тогда я буду астронавтом,— заявила она.

— Во молодец! — одобрил ее Габриель.— Правильно! Надо идти в ногу со временем.

— Да, астронавтом, и буду изводить марсиан,— продолжила Зази.

Габриель с воодушевлением похлопал себя по ляжкам:

— А у девочки богатое воображение! — Он был в восторге.

— Но все-таки ей пора спать,— мягко сказала Марселина.— Ты, наверное, очень устала?

— Нет,— сказала Зази и зевнула.

— Девочка хочет спать,— обратилась Марселина к Габриелю.— Все-таки пора ее укладывать.

— Ты права,— кивнул Габриель и начал сочинять императив, по возможности исключая всякие возражения. Он не успел еще оформить свою мысль, как Зази спросила, нет ли у него телика.

— Нет,— ответил Габриель и добавил не вполне искренне: — Я предпочитаю широкоэкранный кинематограф.

— Тогда отведи меня в кино.

— Сейчас слишком поздно,— ответил Габриель,— да к тому же все равно не успеем, мне на работу к одиннадцати.

— В принципе можно и без тебя,— сказала Зази.— Мы ходим вдвоем с тетушкой.

— Я возражаю,— процедил Габриель, свирепея. Он посмотрел Зази прямо в глаза и злобно добавил: — Марселина без меня никуда не ходит.— И добавил: — Не спрашивай почему, слишком долго объяснять тебе, деточка.

Зази отвела взгляд и зевнула.

— Я устала,— сказала она,— пойду спать.

Встала. Габриель подставил щечку.

Какая у тебя нежная кожа,— мимоходом заметила Зази.

Марселина проводила ее в комнату, а Габриель достал симпатичный футлярчик из свиной кожи, на котором были выдавлены его инициалы, уселся на кресло, налил себе большой стакан гранатового сиропа, разбавил его небольшим количеством воды и принялся за маникюр; он обожал это занятие, делал маникюр превосходно, и, как он считал, лучше всякой маникюрши. При этом он напевал что-то в высшей степени похабное, а затем, после песенки о проказах трех ювелиров, принялся насвистывать не слишком громко, чтобы не разбудить девочку, сигналы военных времен: тушение огней,

поднятие флага, капрал вралвралврал и т. д. В комнату вошла Марселина.

— Сразу же уснула,— тихо сказала она.

Марселина села и налила себе рюмку вишневки.

— Прелестное дитя! — бесстрастно прокомментировал Габриель.

Вдоволь налюбовавшись только что обработанным мизинцем, он принялся за безымянный палец.

— Интересно, что мы с ней завтра целый день делать будем? — тихо спросила Марселина.

— Как что? Никаких проблем! — отозвался Габриель.— Свою ее на Эйфелеву башню, на самый верх. Завтра во второй половине дня.

— Ну а в первой — то что? — тихо спросила Марселина.

Габриель внезапно побледнел.

— А вдруг...— проговорил он,— а вдруг она меня разбудит?!!

— Вот видишь,— тихо заметила Марселина,— уже проблема.

Страшное смятение охватило Габриеля.

— Ведь дети рано просыпаются! Она не даст мне выспаться! Она меня разбудит... Ты ш меня знаешь. Если я не выплюсь — я не человек. Десять часов сна для меня — это главное. А то я заболел. Он посмотрел на Марселину: — Ты об этом не подумала?

Марселина опустила глаза:

— Я не хотела вмешиваться в твои отношения с родственниками.

— Я это очень в тебе ценю,— многозначительно произнес Габриель.— Но что бы нам такое придумать, чтобы она меня завтра не разбудила?

Они начали ломать головы.

— Можно дать ей снотворное,— предложил Габриель,— чтобы она спала до полудня, или, что еще лучше, до четырех часов. Говорят, есть какие-то хорошие свечи — действуют безотказно.

Из-за двери послышалось скромненькое «тук-тук-тук» — это по ее деревянной поверхности постучал Турандот.

— Войдите,— сказал Габриель.

Турандот появился в сопровождении Зеленуды. Не дожидаясь приглашения, он уселся на стул, клетку с попугаем поставил на стол.

Зеленуда с вожделением уставился на бутылку гранатового сиропа. Марселина плеснула ему немного в поилку. Турандот красноречивым жестом отказался от аналогичного угощения. Габриель, покончив со средним пальцем, принялся за указательный. За это время никто не проронил ни слова.

Зеленуда бодро сглотнул гранатовый сироп, вытер клюв о жердочку и первый начал разговор, сказав примерно следующее:

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен.

— А пошел ты,— обиженно отозвался Турандот.

Габриель прервал свои занятия и злобно посмотрел на посетителя.

— Ну-ка повтори, что ты там сказал,— процедил он.

— Я сказал,— сказал Турандот,— я сказал: а пошел ты...

— Ин нна што ш это ты намекаешь, да позволено будет узнать?

— Я намекаю на то, что я возражаю! Мне не нравится, что здесь живет эта девчонка.

— Нравица тебе это или нет, мне плевать, слышишь?

— Прошу прощения. Я сдавал тебе квартиру без детей, а теперь без моего разрешения у тебя завелся ребенок.

— Знаешь, куда ты сейчас пойдешь со своим разрешением?

— Знаю, знаю. Ты очень неучтив со мной. Скоро ты будешь выражаться так же, как твоя племянница, и опозоришь мой дом.

— Бывают же такие недоумки! Ты хотя бы знаешь, кто такой «недоумок»? Болван ты эдакий!

— Ну вот, начинается,— сказал Турандот.

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен,— вмешался Зеленуда.

— А что, собственно, начинается? — с угрозой в голосе спросил Габриель.

— Ты начинаешь изъясняться неподобающим образом.

— Он мне начинает действовать на нервы,— сказал Габриель Марселине.

— Не заводись,— тихо сказала она.

— Я не хочу, чтобы в моем доме находилась эта паршивка,— с патетикой произнес Турандот.

— А мне насрать,— заорал Габриель.— Насрать!! Слышишь? — И он ударил кулаком по столу... От удара стол провалился в обычном месте. Клетка упала на пол. Вслед за ней на полу оказался графинчик с вишневкой, рюмочки и маникюрный набор. Зеленуда грубо высказал свое неудовольствие, сироп потек на столь дорогой сердцу Габриеля предмет кожгалантерии, Габриель издал отчаянный вопль и бросился на пол за оскверненным футляром. Прodelывая это, он опрокинул стул. В этот момент открылась дверь спальни.

— Что за черт! Потише нельзя?

На пороге стояла Зази в пижаме. Зевнув, она враждебно усталилась на Зеленуду.

— У нас здесь что, зверинец? — поинтересовалась она.

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен! — ответил Зеленуда. Несколько ошалев, Зази пренебрегла попугаем в пользу Турандота и, обращаясь к дяде, спросила:

— А это кто?

Габриель вытирал кожаный футляр краем скатерти.

— Черт! — прошептал он.— Все пропало!

— Я тебе новый подарю,— тихо проговорила Марселина.

— Это очень любезно с твоей стороны, только тогда уж не из свиной кожи.

— А из какой ты хочешь? Из телячьей?

Габриель насупилсЯ:

— Из акульей?

— Из русской?

По-прежнему недоволен.

— А может, из крокодиловой?

— Это слишком дорого.

— Да, но зато шикарно и надолго.

— Ты права, но такой я куплю себе сам.

Расплывшись в улыбке, Габриель повернулся к Зази:

— Видишь, твоя тетя — чудесная женщина.

— Ты мне так и не сказал, кто это там сидит?

— Это наш домовладелец, — ответил Габриель, — исключительный человек, настоящий друг, он хозяин кафе в подвале.

— «Погребка»?

— Именно, — сказал Турандот.

— А в вашем «Погребке» танцы бывают?

— Боже упаси!

— Да, дело дрянь, — сказала Зази.

— Ты за него не беспокойся, у него денег хватает.

— Но если бы его кафе, во-первых, было на Сен-Жермен де Пре, а, во-вторых, с танцами, он греб бы деньги лопатой. Об этом во всех газетах пишут.

— Я очень тронут твоей заботой, — высокомерно проговорил Турандот.

— А пошел ты в задницу со своей заботой, — мгновенно среагировала Зази.

Турандот победно взвизгнул:

— А! Вот теперь ты уже не сможешь отрицать. Я сам слышал, как она меня послала. «А пошел в задницу» говорит.

— Я бы попросил тебя не выражаться!

— Это не я, это она, — сказал Турандот.

— Он ябедничает, а это нехорошо, — констатировала Зази.

— И вообще, хватит, — заявил Габриель. — Мне уже пора уходить.

— Наверно, скучно быть ночным сторожем? — спросила Зази.

— Работ веселых в мире нет, — ответил Габриель. — Иди спать.

Турандот взял клетку и произнес:

— Мы еще вернемся к этому вопросу.

И добавил с ухмылкой:

— Сходим, куда подальше!

— Какой он все-таки дурак, — ласково сказала Марселина.

— Глупее не придумаешь, — отозвался Габриель.

— Что ж, доброй ночи, — по-прежнему доброжелательно проговорил Турандот, — с вами я провел приятный вечер, в общем, не потратил времени зря.

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен.

— А он мне нравится, — сказала Зази, глядя на птицу.

— Иди спать, — промолвил Габриель.

Зази вышла в одну дверь, вечерние посетители — в другую. Габриель дождался, пока все стихнет, и только тогда вышел сам. Бесшумно, как и подобает образцовому квартиранту, он спустился вниз по лестнице. Но тут Марселина заметила на комодке одну вещичку и, схватив ее, побежала к двери. На лестничной клетке она перегнулась через перила и крикнула ласковым голосом:

— Габриель!

— Что! В чем дело?

— Ты забыл свою губную помаду.

III

В углу комнаты Марселина приготовила все для умывания: поставила столик, таз, кувшин, как в каком-нибудь забытом богом захолустье. Чтоб Зази чувствовала себя как дома. Но Зази не чувствовала себя как дома. Она не только умела пользоваться привинченным к полу биде, но и прекрасно была знакома — так как уже сталкивалась с ними — с тысячей других чудес санитарного искусства. Чувствуя отвращение к окружающему ее убожеству, она лишь смочила лицо водой и один-единственный раз провела гребенкой по волосам.

Зази посмотрела в окно: во дворе было пусто. В квартире тоже, казалось, ничего особенного не происходило. Приросшее к двери ухо Зази не различало ничего. Она тихонько вышла из комнаты. В столовой было темно и тихо. Дальше Зази пробиралась на ощупь, ставя пяточку к носку, с закрытыми глазами, как отмеряют квадраты в классиках (для большего интереса), и она открыла следующую дверь с огромными предосторожностями. В этой комнате было также темно и тихо: там кто-то мирно спал. Зази закрыла дверь и пошла теперь задом наперед (тоже для большего интереса). Шла она так очень долго, пока не добралась, наконец, до еще одной, третьей, комнаты, и вновь с огромными предосторожностями открыла дверь. Так она очутилась в передней, которую из последних сил освещало единственное, украшенное витражом из красных и синих стекол окно.

Теперь ей предстояло открыть еще одну, последнюю дверь, чтобы обнаружить то, к чему она стремилась во время всей этой обзорной экскурсии, а именно клозет.

Клозет был самого совершенного образца, с сиденьем, и Зази, вновь соприкоснувшись с цивилизацией, провела там добрых четверть часа.

Это место показалось ей не только полезным, но и увлекательным. Здесь чисто. Все аккуратно выкрашено масляной краской. Шелковистая бумага ласково похрустывала между пальцев. В это время дня здесь даже было солнце: из форточки лился мягкий свет. Зази погрузилась в раздумья: спускать воду или нет. Ведь от этого грохота в доме может начаться переполох. После недолгих колебаний она все-таки решилась — с шумом хлынула вода. Зази прислушалась, но ничего, казалось, не нарушило тишины. Вот уж воистину дом спящей красавицы. Она вновь присела, чтобы воскресить в памяти вышеупомянутую сказку, персонажи которой перемежались у нее в голове крупными планами известных киноактеров. Запутавшись в сюжете, но вскоре вновь обретя свойственную ей критическую направленность мыслей, Зази пришла к выводу, что все эти волшебные сказки несусветная чушь, и решила выйти.

Вернувшись в переднюю, Зази увидела еще одну дверь, которая, по всей видимости, вела на лестницу. Она повернула ключ, наивно оставленный хозяевами дома в замочной скважине из ложного чувства предосторожности, и, убедившись в своей правоте, вышла на лестничную площадку.

Она тихонько прикрыла за собой дверь и начала спускаться

на цыпочках по лестнице. На втором этаже она остановилась и прислушалась: все было тихо. Спустилась на первый, прошла по коридору. Впереди — светящийся прямоугольник — дверь на улицу открыта, и вот Зази уже на улице.

Это была тихая улица. Машины здесь ездили так редко, что можно было преспокойно играть в «классики» прямо на проезжей части. Тут было несколько самых что ни на есть обычных магазинов крайне провинциального вида. По улице степенным шагом расхаживали местные жители, те самые, которые, прежде чем перейти улицу, смотрят сначала налево, потом направо, соединяя в едином мощном порыве чувство гражданской ответственности с чрезмерной заботой о собственной безопасности. Не то чтобы Зази была разочарована, ведь она знала, что находится в Париже, а Париж — это большая деревня, и эта улица еще не весь Париж. Но для того чтобы воочию убедиться в этом, надо было продолжить прогулку. Что она, собственно, и сделала со свойственной ей непринужденностью.

Но тут внезапно в дверях «Погребка» появился Турандот. Не поднимаясь на тротуар, он заорал:

— Эй, малышка, ты куда?

Зази, не сказав ни слова, разом ускорила шаг. Турандот с криком «Эй, малышка!» поднялся на ступеньку. Он не сдавался.

Зази перешла на гимнастический шаг и резко свернула за угол. Улица, на которой она оказалась, была куда оживленнее. Теперь уже Зази неслась на всех парах. Здесь ни у кого не было ни времени, ни желания смотреть на нее. Но Турандот бросился вдогонку. Он бежал что есть мочи. Наконец, догнал, крепко схватил ее за руку и, ни слова не говоря, повернул к себе лицом. Не мешкая ни минуты, Зази закричала:

— На помощь! Помогите!

Ее крик тут же привлек внимание домохозяек и находящихся рядом граждан. Они оставили свои личные дела или отсутствие оных, чтобы поучаствовать в происшествии.

Но Зази решила не останавливаться на достигнутом и с удвоенной энергией продолжала:

— Я не хочу идти с этим дяденькой, я его не знаю, я не хочу идти с этим дяденькой...

Итэдэ.

Уверенный в правоте своего дела, Турандот пропустил ее вопли мимо ушей, но очень быстро пожалел об этом, поняв, что находится в плотном кольце суровых и закоренелых моралистов.

В присутствии этой избранной публики Зази решила перейти от общих соображений к конкретным, точным и обстоятельным обвинениям.

— Этот господин, — сказала она невинно, — ко мне приставал.

— А что он хотел? — с повышенным интересом спросила какая-то особа.

— Мадам! — возопил Турандот. — Эта девочка сбежала из дома. Я хочу отвести ее к родителям.

По лицам присутствующих пробежала полная скептицизма ухмылочка. Тетка не унималась. Она наклонилась к Зази:

— Ну, малышка, давай, не бойся, рассказывай, что же такое сказал этот нехороший дядя?

— Это слишком неприлично,— прошептала Зази.

— Он тебя соблазнял?

— Вот именно, мадам.

И Зази пересказала ей на ухо кое-какие подробности. Тетка выпрямилась и плюнула Турандоту в лицо.

— Омерзительно! — бросила она вдобавок.

И она опять, и снова, и еще раз харкнула ему прямо в рожу. В разговор вмешался мужчина:

— Чего он от нее хотел?

Тетка перешептала ему в ухо несколько зазисских деталей.

— О! — сказал тот.— Мне это никогда и в голову не приходило.

И повторил еще раз, задумчиво:

— Нет, никогда.

Он повернулся к соседу:

— Нет, вы подумайте, это невероятно (подробности)...

— Бывают же такие законченные подонки,— отозвался тот.

Росказни Зази распространились в толпе.

Какая-то женщина сказала:

— Не понимаю.

Стоявший рядом мужчина стал ей объяснять. Он вытащил из кармана клочок бумаги и что-то нарисовал шариковой ручкой.

— Ах, вот оно что,— мечтательно сказала женщина. И добавила: — А что, хорошая вещь?

Она имела в виду ручку.

Два знатока-любителя заспорили.

— Я слышал,— сказал один,— мне рассказывали, что (подробности)...

— Меня-то это не очень удивляет,— ответил другой,— меня уверяли, что (подробности)...

Одна торговка, извлеченная из своей лавочки собственным же любопытством, так и не смогла обуздать порыв нахлынувшей на нее откровенности:

— Послушайте меня,— грит,— однажды мой муж,— грит,— в общем, ему пришлось в голову (подробности).... И что его потянуло на такое — не понимаю...

— Может, он нехорошую книжку прочел? — подсказал кто-то.

— Весьма возможно. Так вот я, которую вы видите, я сказала ему, мужу моему, ты хочешь, чтобы я (подробности).... Чертасдва! — грю я ему.— За этим иди к арабам, если тебе так приспичило! Вот что я ответила ему, мужу моему, который хотел, чтобы я (подробности).... Все единодушно ее одобрили.

Но Турандот думал о другом. Иллюзии его рассеялись. Пользуясь повышенным интересом к техническим новинкам, высказанным Зази в ее обвинениях, он потихоньку смылся. Прижимаясь к стене, свернул за угол, спешно вернулся в свой кабачок, проскользнул за цинковую (из дерева со времен оккупации) стойку, налил себе большую рюмку божоле и опрокинул ее разом.

Потом он проделал это еще раз, а затем вытер лоб тем, что обычно заменяло ему носовой платок.

Чистившая картошку Мадо Ножка-Крошка спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Не спрашивай! Ну и перетрухал же я! Эти кретины решили, что я сексуальный маньяк, и, если бы я не смылся, они бы растерзали меня в клочья.

— В следующий раз не будете лезть. Вам что, больше всех надо? — сказала Мадо Ножка-Крошка.

Турандот не ответил. В его голове сейчас шла программа индивидуальных новостей, и он как раз просматривал ту сцену, из-за которой чушь было не попал если не во всемирную историю, то хотя бы в хронику происшествий. Он вздрогнул, подумав об участии, которой ему удалось избежать, и снова пот побежал по его лицу.

— Бохмой, бохмой, — промямлил он.

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен, — вмешался Зеленуда.

Турандот утерся и налил себе третий стакан божоле.

— Бохмой, — повторил он.

Ему казалось, что это слово лучше всего передавало овладевшее им чувство.

— Ладнауш, — сказала Мадо Ножка-Крошка, — вы ведь все-таки остались живы.

— Тебя бы туда, вот что!

— Глупо говорить, «тебя бы туда», вы и я — совершенно разные вещи.

— Слушай, не спорь со мной, я не в духе.

— А вы не подумали, что нужно сказать Габриелю и Марселине?

Черт! Ведь он и правда об этом не подумал. Он оставил недопитым третий стакан и помчался наверх.

— Надо же, Турандот! — сказала Марселина, держа в руках вязание.

— Пигалица, — едва вымолвил запыхавшийся Турандот, — пигалица, хм, она сбежала.

Ни слова не говоря, Марселина вошла в комнату Зази. Точно. Ей ослет простыл.

— Я ее видел, — сказал Турандот, — я пытался ее остановить. Куда там! Чертасдва! (жест).

Марселина вошла в комнату Габриеля и попыталась его растолкать, что было не просто, так как, с одной стороны, он был очень тяжелый, а с другой — очень любил поспать. Габриель зашевелился и засопел. Сразу было видно, что он дрых без задних ног, а такого поди растолкай.

— Что?! Что такое?! — завопил он.

— Зази смылась, — спокойно сказала Марселина.

Он посмотрел на нее. Ничего не сказал. Он быстро все понял — он же не кретин. Пошел в комнату Зази. Он любил во всем убедиться сам.

— Может, она в туалете? — с оптимизмом произнес он.

— Нет, — спокойно ответила Марселина. — Турандот видел, как она ушла.

— А что именно ты видел? — спросил Габриель у Турандота.

— Я видел, как она линяет, погнался за ней, хотел привести домой.

— Это хорошо, ты — настоящий друг.

— Да, но она разоралась, собралась толпа, она кричала, что я к ней пристаю.

— А ты что, не приставал? — спросил Габриель.

— Конечно, нет.

— А то ведь всякое бывает.

— Это точно.

— Вот видишь...

— Пусть он доскажет,— спокойно сказала Марселина.

— Так вот. Вокруг — толпа людей, готовых в любой момент набить мне морду. Эти ублюдки приняли меня за растлителя малолеток.

Габриель и Марселина не сдержались и прыснули.

— Но как только я увидел, что они про меня забыли, я тут же смылся.

— Что, сдрейфил?

— А то. Никогда в жизни так не трухал. Даже во время бомбежки.

— А я никогда не боялся бомбежки,— сказал Габриель.— Ведь бомбили англичане, и я знал, что их бомбы предназначались не мне, а фрицам. Я встречал англичан с распростертыми объятиями...

— А это тут при чем? — сказал Турандот.

— Неважно. Я все равно не боялся. С моей головы и волос не упал, даже в худшие времена. У фрицев были штаны полны от страха, они драпали в укрытия — только пятки сверкали, а я веселился, я не прятался, я любовался фейерверком, раз — и в точку, склад боеприпасов — бабах! вокзал — был и нету, завод в руинах, город в огне — классное зрелище.

Габриель заключил со вздохом:

— По сути дела, не так уж мы тогда плохо и жили.

— А мне война тяжело далась,— сказал Турандот,— на черном рынке я был лопух лопухом. Не знаю, почему, но мне все время впаивали штрафы, перли что-нибудь, то государство, то налоговая система, то контролеры, мою лавочку то и дело прикрывали, а в июне сорок четвертого, когда я чуток разжился золотишком, меня как раз прекрасненько и разбомбили. Вот так... Непруха. Еще хорошо, что я получил в наследство это кафе, а то...

— Уж не тебе-то жаловаться,— сказал Габриель,— у тебя все отлично, работенка не бей лежачего.

— Тебя бы на мое место! Да моя работа не только утомительная, но и опасная.

— А что бы ты сказал, если бы тебе приходилось пахать по ночам, как мне? И спать днем. Спать днем — страшно утомительно, хотя со стороны так сразу и не скажешь. Не говоря уже о том, что тебя могут разбудить ни свет ни заря, как, например, сегодня. Ох, не хотел бы я, чтобы так было каждое утро.

— Девчонку надо будет держать взаперти,— посоветовал Турандот.

— Интересно все-таки, почему она смылась? — задумчиво произнес Габриель.

— Ей не хотелось будить тебя, и, чтобы не шуметь, она пошла пройтись,— спокойно сказала Марселина.

— Я не хочу, чтобы она гуляла одна,— произнес Габриель,— улица — школа порока, это все знают.

— Может быть, она, выражаясь газетным языком, совершила побег?

— Это было бы совсем не здорово,— ответил Габриель.— Боюсь, тогда легавых звать придется. Хорошо же я при этом буду выглядеть!

— А ты не думаешь, что тебе нужно самому попытаться ее отыскать? — спокойно сказала Марселина.

— Я лично иду досыпать,— сказал Габриель и направился к кровати.

— Найдя ее, ты бы только выполнил свой долг,— заявил Турандот.

Габриель ухмыльнулся и сказал, пародируя Зази:

— А пошел ты в задницу со своим долгом,— и добавил: — Сама найдется.

— А если она нарвется на сексуального маньяка? — спокойно сказала Марселина.

— Вроде Турандота,— пошутил Габриель.

— Не смешно,— отозвался Турандот.

— Хорошо бы ты все-таки пошел за ней, Габриель,— спокойно сказала Марселина.

— Сама иди.

— У меня белье на плите.

— Вы бы лучше стирали белье в американских прачечных самообслуживания,— вмешался Турандот,— тогда и хлопот никаких, я лично всегда так делаю.

— А может, она от стирки удовольствие получает? Куда ты лезешь?! Болтай, болтай, вот все, на что ты годеи! Вот где они у меня сидят, эти ваши американские штучки. И он похлопал себя по заднице.

— Надо же,— сказал Турандот иронично.— А я считал тебя американофилом.

— Американофилом! Меня! Ты употребляешь слова, которых не понимаешь сам. Американофил! Как будто это мешает стирать грязное белье в семье. Мы с Марселиной не просто американофилы, дурная твоя голова, но к тому же, **В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ**, мы и белье стирали, что, не укладывается?!

Турандот не нашелся, что ответить. Одетый в длинную рубашку фирмы «Хикэтнунк», которую действительно стирать не просто, он решил вернуться к более конкретной и актуальной проблеме.

— Ты бы лучше сходил за девчонкой,— посоветовал он Габриелю.

— Чтобы я вляпался в такую же историю, как и ты? Чтобы меня излинял на месте его величество Вульгус Пекус?!

Турандот пожал плечами.

— Болтай, болтай, вот все, на что ты годен,— пренебрежительно сказал он.

— Ну, иди,— спокойно сказала Марселина.

— Вы меня достали оба,— недовольно пробурчал Габриель.

Он вернулся в спальню, аккуратно оделся, уныло провел рукой по подбородку, с которого не успел убрать щетину, вздохнул и появился опять.

Турандот и Марселина, или, скорее, Марселина и Турандот, обсуждали недостатки и недостатки стиральных машин. Габриель чмокнул Марселину в лобик.

— Прощай,— сказал он многозначительно,— труба зовет, я иду исполнять свой долг.

Он крепко пожал руку Турандоту. Чувство, переполнявшее его в эту минуту, не позволяло сказать ничего другого, кроме известной фразы «труба зовет», и в глазах его была тоска, свойственная личностям, которых ожидает Великая Судьба.

Остальные посерьезнели.

Габриель пошел. Вышел.

На улице он принюхался. Ничего особенного. Как всегда, сильно пахло из «Погребка». Он не знал, куда идти, на юг или на север, именно так пролегла дорога, на которой он находился. Тут чей-то крик прервал его колебания. Это был сапожник Подшафэ, подававший ему из своей лавочки знаки. Габриель подошел.

— Вы наверняка девочку ищете.

— Да,— без энтузиазма пробурчал Габриель. «Вечно он в разговоре со мной защемляет мой неполноценный комплекс»,— сказал себе Габриель внутренним голосом.

— Так это вас не интересует? — спросил Подшафэ.

— Интересует, куда я денусь.

— Ткчево рассказывать?

— Все-таки забавный народ эти сапожники! — ответил Габриель. Все время вкалывают и вкалывают. Можно подумать, это им очень нравится. Сидят за стеклом у себя в мастерской, пусть все смотрят и восхищаются! И мастерицы, поднимающие петли на чулках, туда же!

— А интересно,— вставил Подшафэ,— где вами можно повосхищаться?

— А нигде,— вяло отреагировал он,— я же артист, я ничего плохого не делаю. А потом сейчас некогда об этом разговаривать, время не ждет, нужно скорей найти девочку.

— Я говорю, потому что мне приятно это делать,— спокойно ответил Подшафэ. Он оторвал голову от своей работы и посмотрел на Габриеля.— Ну, чертов болтун, вы хотите узнать, что с ней? Да или нет?

— Я же вам сказал, время не ждет.

Подшафэ ухмыльнулся:

— Турандот вам рассказал, с чего все началось?

— Он рассказал то, что считал нужным.

— Но вам наверняка интересно узнать, что же было потом.

— Да,— сказал Габриель.— Так что же было потом?

— Потом? А что, начала вам недостаточно? Ваша девочка сбежала! Сбежала!

— Здорово, ничего не скажешь,— пробурчал Габриель.

— Вам остается только сообщить в полицию.

— Мне лично это ни к чему,— сказал слабеющим голосом Габриель.

— Сама она не вернется.

— Не известно.

Подшафэ пожал плечами:

— Честно говоря, мне в конце концов наплевать.

— Мне в глубине души тоже.

— А у вас она есть?

Габриель в свою очередь пожал плечами. Надо же, еще и хамит. Не говоря ни слова, он пошел домой досыпать.

Перевод с французского *Марии Голованивской*
и *Елены Разлоговой.*

Куда тебя гонит весенняя ночь?
Свихнулись цветы, фиалкам невмочь,
И в страхе трясутся гвоздики,
Надутые розы красны от стыда,
Смертельно бледны нимфеи пруда
И ропшут, бубня, как зайки.

О, Месяц! Правы святоши-цветы.
Хоть видел мое прегрешенье лишь ты,
Но им оно стало известным;
Подслушал синклит этих чопорных дев
Тот бред, что от жгучей любви обалдев,
Я выболтал звездам небесным!

Перевод с немецкого Аркадия Штейнберга

14 октября 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором была заслушана письменная просьба Н. С. Хрущева об отставке с занимаемых им постов Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров СССР. Просьба была удовлетворена. Решено было также не совмещать в дальнейшем обе эти должности. Первым секретарем был избран Л. И. Брежнев, а на должность главы правительства решили рекомендовать А. Н. Косыгина.

С тех пор минуло более четверти века. Но до самого последнего времени широкой публике не было ничего известно о том, что происходило тогда в Кремле. Нам объявили только, что сняли Никиту Сергеевича за «субъективизм» и «волюнтаризм». В последние два-три года занавес молчания приподнялся. Журналисты и историки изложили нам ряд версий, поведали кое-какие подробности. А самое главное, заговорили активные участники тех событий. И благодаря им мы теперь лучше представляем себе эти события, причины, вызвавшие их ход, и то, кто за ними стоял. И тем не менее вопросов и споров еще очень и очень много...

Вот хотя бы один из них: был ли это новый «переворот»? Нет, категорически отвечают некоторые. О каком перевороте может идти речь, когда войска продолжали оставаться в казармах и даже Кремль был открыт для свободного посещения? У нас нет оснований не верить категорическим утверждениям на этот счет тогдашнего председателя КГБ СССР В. Е. Семичастного. И все же мы сомневаемся, что Московский гарнизон, и тем более кремлевская охрана, находились в обычном положении, а не в состоянии повышенной боевой готовности.

О каком перевороте может идти речь, продолжают нам внушать, если вопрос о персональных перемещениях в высшем руководстве решался вполне демократически и в соответствии с Уставом КПСС и Конституцией СССР? Да, внешне вроде бы все так и обстояло. Но чтобы создать этот демократический и правовой декорум, пришлось, как признавал позже Л. И. Брежнев, «хорошо поработать».

Все началось с того, что Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев привлек на свою сторону Н. В. Подгорного, которого Хрущев в июле 1963 года вызвал с Украины и поставил на роль второго секретаря вместо заболевшего Ф. Р. Козлова. Произошло это, вероятнее всего, в конце 1963 или начале 1964 года. Им обоим и принадлежала от начала и до конца решающая роль подготовки смещения Хрущева.

Делали они это весьма осторожно и не сразу раскрывали свои

карты. Вот как описывает их методы тогдашний кандидат в члены Президиума ЦК КПСС и первый секретарь ЦК Компартии Украины П. Е. Шелест.

«Обменивались мы с Брежневым мнениями о вопросах, обсуждавшихся в Президиуме ЦК КПСС, делились впечатлениями о том, кто, что и как при этом говорил, выражали недовольство тем, что Н. С. мало считается с ними, часто пренебрегает их суждениями и вообще становится все грубее и заносчивее». Если собеседник сочувственно встречал их сетования и, мало того, поддакивал, соглашался, они поворачивали разговор на то, что вот-де, неплохо бы было остановить Никиту, одернуть его, сделать ему коллективное внушение, может быть, даже пригрозить... Но как это лучше сделать?

— А что, если ты, Петр Ефимович, созовешь у себя в Киеве пленум республиканского ЦК, позовешь на него Хрущева. И вы ему там все выскажете...

— Да, нашли дурака,— резко отвечал П. Е. Шелест.— Так он вам и примчится по первому свистку... А если еще узнает зачем, посьпятся с нас пух и перья!

Разговор этот, состоявшийся в начале июля 1964 года в Крыму, где они оба отдыхали, вроде бы ни к чему конкретному не приводил. Но тем не менее еще один человек превращался в соучастника. И пусть П. Е. Шелест, как он утверждает это сейчас, не до конца понимал намерение Брежнева и Подгорного, полагая, что речь идет только о том, чтобы «снять стружку» с зарвавшегося Н. С., приструнить его, однако с этого момента Шелест был в курсе их ближайших намерений, поддерживал их и, мало того, сам проводил соответствующую работу среди членов и кандидатов в члены ЦК КПСС от Украинской республиканской партийной организации, регулярно докладывая в Москву о ее результатах.

В Российской Федерации такую роль в известной мере взял на себя бывший член Президиума ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Г. Игнатов.

Да, недовольных Хрущевым в партийном, советском и хозяйственном аппарате, среди членов Центрального Комитета партии насчитывалось тогда немало. Однако если бы Брежнев и Подгорный ограничились только тем, что подспудно формировали среди них большинство...

Нет, они не были такими наивными простаками, знали, что осуществить задуманное можно лишь, опираясь на конкретную силу. Эту опору они обеспечили прежде всего тем, что привлекли на свою сторону секретаря ЦК КПСС, заместителя Председателя Совета Министров СССР и председателя Комитета партийно-государственного контроля СССР А. Н. Шелепина, а вместе с ним и председателя Комитета государственной безопасности В. Е. Семичастного. Теперь можно было почти не опасаться нежелательной утечки информации. Щит вроде бы налицо... А как насчет меча? Может быть, воспользоваться и им?

И вот Л. И. Брежнев выясняет у В. Е. Семичастного возможность физического устранения «первого».

— Что вы имеете в виду, Леонид Ильич? — спрашивает пораженный глава госбезопасности.

— Ну там, что-нибудь такое-эдакое...

— Яд, например, или пуля?..

— Да не мне вас учить, Владимир Ефимович...

— А как вы представляете себе все это? Кто будет организовывать и исполнять? Лично я понятия не имею, как за подобное дело взяться. Значит, надо кому-то поручить. Причем, наверное, не одному человеку. Вы можете дать гарантию, что тайна, которой владеют столько людей, останется тайной?

Брежнев явно разочарован.

— А я-то думал, что одной из важнейших задач вашей службы и является обеспечение тайны...

— Да, но любая тайна рано или поздно перестает быть таковой. В каком виде мы будем выглядеть в глазах наших потомков?

Полагая, что ему удалось отговорить своего собеседника от такой рискованной авантюры, Семичастный направляется к выходу, но Брежнев останавливает его:

— Неужто так и нельзя ничего сделать?.. Вот, например, Н. С. собирается с официальным визитом в Швецию... Может быть, арестовать его, когда будет оттуда возвращаться, где-то на подходе к Москве?.

Семичастный категорически запротестовал:

— Мы не заговорщики, и надо решать этот вопрос законным путем.

Узнав, о чем именно беседовал Брежнев с Семичастным, Подгорный поддержал позицию последнего.

О каком визите в Швецию шла речь? Об официальном визите Н. С. Хрущева в Скандинавские страны, который начался в июне 1964 года. Заметьте: в июне! Все тогда обошлось для Никиты Сергеевича благополучно. 5 июля он благополучно сошел с трапа теплохода «Башкирия» в порту Балтийск (Калининградская область), где его встречали командующий Балтийским флотом адмирал А. Е. Орел и командующий Прибалтийским военным округом генерал-полковник Г. Е. Хетагуров, а также находившийся здесь на отдыхе министр обороны СССР мшал Р. Я. Малиновский.

Были ли они уже тогда на стороне заговорщиков? Если были, то что помешало им привести в исполнение план, которым Брежнев делился, очевидно, не с одним Семичастным? Судя по всему, Малиновский, хотя и знал о намерениях Брежнева и Подгорного, в отличие от своего первого заместителя маршала С. С. Бирюзова, полагал, что не дело армии участвовать в таких сомнительных мероприятиях, как арест главы партии и правительства...

Вернувшись в Москву, Хрущев выступает на Пленуме ЦК КПСС с неожиданной для всех речью. Он дает понять, что на следующем Пленуме, в ноябре, будет предложена еще одна реорганизация сельского хозяйства, а также реформы в области науки. Затем докладывает на Конституционной комиссии о том, как идет работа над проектом новой Конституции, высказывает ряд «предварительных замечаний» о принципах, которые должны быть заложены в основу проекта. И, наконец, выступая 24 июля на расширенном заседании Президиума Совета Министров СССР, требует пересмотреть главное направление и задачи планирования на ближайший

период (1966—1970 годы). По его мнению, уж коль Программа партии предусматривает в ближайшем будущем построение коммунизма, необходимо взять решительный курс на то, чтобы благосостояние народа росло как можно быстрее. А для этого следует быстрее развивать производство средств потребления, не забывая, конечно, при этом о должном уровне обороны.

Поднялся всеобщий ропот... Одни стонали от того, что «пошли под хвост» плоды долгой и упорной работы по составлению народно-хозяйственных планов и балансов. Других пугали «идеологические» аспекты грядущей государственной реформы. Третьи со страхом ждали обещанной «перетряски» кадров. Эта атмосфера недовольства, тревоги и неуверенности способствовала тому, что ряды «заговорщиков» стали быстро пополняться...

Но первыми на открытое неповиновение осмелились ученые. На выборах в Академии наук СССР они завалили кандидатуру Нуждина — одного из ближайших сподвижников Лысенко, лично поддержанную Хрущевым. Гневу последнего не было предела. Он распорядился подготовить постановление о том, чтобы передать все академические институты в распоряжение соответствующих ведомств. Президент АН М. В. Келдыш решил подать в отставку. Но его отговорил первый секретарь МГК КПСС Н. Г. Егорычев:

— Имейте в виду: сегодня Хрущев, завтра кто-нибудь другой, а академию надо сохранить.

— Как же сохранить, когда ее разгоняют? Ведь он уже распорядился постановление соответствующее подготовить.

— Пока его будут готовить, многое может перемениться. Ведь вы же член ЦК?

— Да, ну и что же?

— А то, что ЦК не только избирает своего Первого секретаря, но и в праве призвать его к ответу.

Чуть ли не в тот же день в Президиуме ЦК решался вопрос: кого вместе с М. А. Суловым послать на похороны главы французской компартии М. Тореза. Остановились, по рекомендации Брежнева и Демичева, на Егорычеве. Там, в Париже, Егорычев пытался вызвать Сулова на откровенный разговор об академии, о неразумном урезывании и без того небольших личных подворий у колхозников. Однако Михаил Андреевич демонстративно уклонялся от продолжения беседы в таком русле.

А Никита Сергеевич тем временем разъезжал по стране, собирая материал для доклада, который он намеревался сделать на предстоящем Пленуме ЦК партии. Посетил Поволжье, Северный Кавказ, Казахстан и Киргизию. Едва вернулся в Москву, вынужден был срочно вылететь в Крым, чтобы проведать там внезапно заболевшего генсека итальянской компартии П. Тольятти. Но не успел: когда он, Косыгин и Подгорный примчались в пионерский лагерь «Артек», им сообщили, что Тольятти умер 40 минут назад. Когда провожали тело покойного в Симферополь, загорелась машина с гробом.

— Не к добру это, — качали головами старики.

Хрущев же едет в Чехословакию, посещает выставки, осматривает новые виды оружия и ракетной техники, встречается с премьер-министрами, президентами, парламентариями. Выступает на Все-

мирном форуме молодежи и студентов. Навестись же в Центральный Комитет времени совсем нет. Да и зачем? Ведь там Брежнев и Подгорный вроде бы со всем справляются...

А последние между тем продолжали забрасывать свою сеть, извлекая из нее то большую рыбу, то маленькую. Им так удалось поспорить с «первым» Г. И. Воронова — человека очень принципиального и сугубо делового, — что он созрел. Пригласили его на открытие охотничьего сезона в Завидово, постреляли там уток, а когда собрались в обратную дорогу, Брежнев сказал ему:

— Геннадий Иванович, поедем в моей машине. Поговорить надо.

В той же машине ехал и Ю. В. Андропов. Оба они без особого труда сумели убедить Воронова в необходимости «избавиться от этого вздорного человека». Таким образом, в заведенном Брежневым реестре и около имени Воронова появился условный значок.

159 километров от Завидова до Москвы даже на правительственной «Чайке» не преодолеть менее чем за полтора часа. От «новообразного» Воронова теперь скрывать было нечего, и у него из обрывочных фраз и реплик, которыми обменивались в его присутствии секретари ЦК Брежнев и Андропов, сложилось впечатление, что последний исполняет в затеянной игре отнюдь не второстепенную роль. Он вынимал из папки и показывал Леониду Ильичу какие-то бумажки. Тот их читал и с удовлетворением говорил:

— Никуда он теперь от нас не денется...

Что это были за бумаги? Компромат? В беседе со мной Геннадий Иванович высказался на этот счет утвердительно.

Правда, не все у противников Хрущева шло гладко.

В тот же день, 15 августа, первый секретарь ЦК КП Литвы А. Ю. Снечкус, принимая в своем охотхозяйстве в Паланге Н. Г. Егорычева, уклонился от разговора о Хрущеве. Более отзывчивых слушателей он нашел в Риге, Таллинне и Ленинграде: первый секретарь ЦК КП Латвии А. Я. Пельше, второй секретарь ЦК КП Эстонии А. П. Вадер, первый секретарь Ленинградского горкома Г. И. Попов выразили готовность обсудить на Пленуме ЦК сложившееся после XXII съезда положение в партийном руководстве. Но вот первый секретарь Ленинградского обкома В. С. Толстик «ничего не понял».

Случалась и утечка информации. Доходило кое-что и до Никиты Сергеевича. От своего сына Сергея он узнал (а тому эту информацию передал бывший охранник) о подозрительных беседах Игнатова один на один с секретарями обкомов, о частых звонках с недомолвками и намеками Брежневу, Подгорному, Кириленко, об упоминаниях ноября как срока, к которому что-то должно быть сделано.

— Нет, невероятно, — реагировал Хрущев на это сообщение. — Не может этого быть... Игнатов — еще возможно: он очень мною недоволен и вообще нехороший человек. Но что у него общего с Брежневым, Подгорным и Шелепиным?

И все же на заседании Президиума ЦК 1 октября 1964 года Никита Сергеевич обеспокоился и, обращаясь к Микояну, проговорил:

— Давай-ка, Анастас Иванович, займись этим делом, постарайся выяснить, что это за мышьяк возня...

Накануне этого заседания Л. И. Брежнев позвонил Н. Г. Егорычеву и попросил срочно зайти к нему, а когда тот явился, шепотом сообщил ему:

— Коля, все пропало. Хрущеву все известно в подробностях... Был он необычайно бледен, руки его дрожали.

— Ну и что? Что тут незаконного? Подготовка к Пленуму ЦК не противоречит Уставу.

— Ты его плохо знаешь, он нас всех расстреляет!

Совсем расквасившись, Брежнев аж заплакал. Егорычев вынужден был подвести его к умывальнику в задней комнате и заставить умыться.

— Ничего непартийного в нашем поведении нет,— убеждал он.— Сейчас другие, не сталинские времена. Надо отстаивать линию XX съезда, свои убеждения, а не дрожать за свое положение и личное благополучие.

— Ты, конечно, можешь ползти к нему на коленях, надеясь вымолить себе пощаду,— увещевал Брежнева и Подгорный.— Ну, а о других ты подумал, людях, которые нами — тобой в первую очередь — вовлечены в наше дело? Ты покаешься первым и останешься как бы ни при чем, а они? Что будет с ними?

Но все обошлось благополучно. Хрущев уже 2 октября был на юге.

Микоян же особой прыти в расследовании не проявил. Ограничившись беседой с информатором Сергея Хрущева, он улетел в Пицунду, где и присоединился к уже начавшему свой отдых Никите Сергеевичу.

Зато Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный и Д. С. Полянский были встревожены серьезно, и страх заставил их задуматься над ускорением событий. Подгорный поручил помощникам готовить доклад с перечислением всех «грехов» Хрущева. Усиленно шла вербовка оставшихся неохваченными членов ЦК. Состоялся разговор с членом Президиума ЦК КПСС и первым заместителем Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным. Когда стали выяснять его позицию, он сразу же спросил:

— А с кем армия и госбезопасность?

— Малиновский и Семичастный в курсе дела,— заверили его.

— Я согласен.

Поддержка Косыгина весьма способствовала привлечению других членов ЦК: он пользовался большим авторитетом (особенно среди хозяйственников), и на него противники Хрущева не уставали ссылаться.

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Д. Ф. Устинов и его заместитель по Высшему совету народного хозяйства А. М. Тарасов пригласили к себе министра-председателя Комиссии по внешнеэкономическим вопросам В. Н. Новикова и с места в карьер предложили ему подготовить тексты двух выступлений на Пленуме ЦК, который состоится в ближайшее время.

— Надо показать руководящему составу партии все безобразия,

которые вытворяет Хрущев. Ты ряд лет проработал в Госплане, и у тебя должно быть материалов предостаточно.

— Что, Хрущева снимать собираются?

Устинов подтвердил.

— А как к этому относятся военные и КГБ?

— Тут все в порядке. Будет полная поддержка.

Тогда Новиков согласился.

Пока Первый готовил в Пицунде с помощью Микояна материалы к предстоящему пленуму (между прочим, уже после его снятия среди них был обнаружен список — судя по всему, его соображения о новом составе Президиума ЦК, из старых его членов в нем значились только двое — сам Хрущев и Микоян...), Брежнев отмечал 15-летие ГДР в Берлине, Подгорный — 40-летие советской Молдавии в Кишиневе, Кириленко отдыхал в Кисловодске; в Москве же на партийном «хозяйстве» оставался Полянский.

И вот, по его словам, в воскресенье 11 октября 1964 года, ближе к вечеру ему звонит Хрущев, ругается, намекает на какие-то интриги против него и, обещав показать кузькину мать, объявляет, что через три-четыре дня вернется в столицу.

— Будем рады, Никита Сергеевич, — выдавливая из себя Полянский.

— Так-таки рады? — переспрашивает Хрущев, и в голосе его чудится не только недоверие, но и угроза.

Полянский тут же обзванивает всех членов Президиума ЦК. Никак только не удавалось переговорить с Брежневым. Его помощник каждый раз отвечал:

— Леонид Ильич занят и не может подойти к телефону.

Наконец, потеряв терпение, Полянский просит:

— Передай Леониду Ильичу слово в слово, не перепутай: в Москве хорошая погода, через три-четыре дня Никита Сергеевич возвращается в Москву!

«В Москве хорошая погода!» — до Брежнева сразу же дошло тревожное значение этого пароля, и через несколько минут он сообщил Полянскому:

— Митя, все понял, выезжаю на аэродром, дал команду подготовить самолет к срочному вылету. Через пару часов буду с вами.

И вот все они вместе.

Последние совещания, последний подсчет сил. И на следующий день порешили: будем вызывать Хрущева на заседание Президиума ЦК: предъявим ему список обвинений и вынудим подать в отставку. Но кто будет звонить в Пицунду?

— Коля, — назвал Брежнев имя Подгорного, — ведь он тут, пока Никиты и меня не было, председателемствовал.

— Но что я ему скажу? — возразил тот. — Ведь я только вчера разговаривал с ним, сказал, что все у нас идет нормально, никаких проблем не возникает. «Что там у вас вдруг произошло?» — спросит он... Пусть лучше говорит Ляня. Тем более что ему надо передать личный привет от товарищей Ульбрихта и Штофа.

Все согласились. Но Брежнев уперся. Еле уговорили его и чуть ли не силой притащили к телефону. Дрожащим голосом тот сообщает Хрущеву:

— Завтра заседание Президиума... Хотим обсудить ряд вопросов. Надо срочно прилететь.

— Не понимаю, какие вопросы? Решайте без меня...

— Нельзя... Есть ряд серьезных нестыковок по проекту семилетнего плана...

— Я же отдыхаю. Что может быть такого срочного? Вернусь, тогда и разберемся...

— Но ряд республик и областей тут выдвигают некоторые требования... по сельскому хозяйству. Мы тут все собрались... А без вашего участия обсуждать их не беремся... Просим,— упорно настаивал Брежнев.

— Ну хорошо,— сдается Хрущев.— Подумаю.

И повесил трубку. Делать нечего. Разъехались. Через каждый час Брежнев звонил Семичастному и спрашивал:

— Ну как?

И только после полуночи тот позвонил сам:

— Леонид Ильич, только что сообщили из «девятки» (9-е Главное управление КГБ, ответственное за охрану руководителей партии и правительства.— Ю. А.): самолет в Пицунду заказан на 6 утра... С Н. С. полетит Микоян.

А в Пицунде в это время Хрущев делился своими мыслями с Микояном:

— Знаешь, Анастас, нет у них никаких неотложных дел. Думаю, что этот звонок связан с тем, что нам говорил Сергей...

Наступило утро 13 октября 1964 года. Семичастный звонит Брежневу:

— Кто поедет встречать?

— Никто,— отвечает тот.— Ты сам встречай. В данной обстановке зачем же всем ехать?

Внуково-2. С трапа самолета сходят Хрущев и Микоян.

— С благополучным прибытием, Никита Сергеевич,— подходит и здоровается с ним Семичастный, вежливо, но сдержанно.

— А где остальные?

— Они собрались в Кремле. Ждут вас...

Хрущев и Микоян садятся в длинный «ЗИЛ-111», Семичастный — в свою «Чайку» и из нее звонит охране:

— Едем в Кремль...

Приезжают. Хрущев направляется в свой кремлевский кабинет, где его уже ждут члены и кандидаты в члены Президиума, а также секретари ЦК КПСС. Семичастный вместе с начальником «девятки» Чекаловым заменяет охрану в приемной, а затем дома (на Ленинских горах) и на даче (в Петрово-Дальнем). Заместителю же личной охраны Хрущева (ее непосредственный начальник Литовченко был в отпуске) приказывает:

— Ни одной команды, ни одного распоряжения без моего ведома не давать. Запрещаю. Таково указание руководства ЦК.

А в это время на заседании Президиума ЦК КПСС Хрущеву предъявили счет его грехов:

— Ты развалил сельское хозяйство! В результате мы вынуждены закупать зерно за рубежом. Созданные тобой совнархозы себя не оправдали! Управление через них ведет к ослаблению

оборонной мощи страны. Ты необоснованно снимал многих руководителей, тебе неугодных. Причем решал эти вопросы единолично, а нас, членов Президиума, делал бессловесными исполнителями твоей воли. Лишь в этом году в печати опубликовано более тысячи твоих фотографий. Разве это не утверждает новый культ личности? А разделение партии на городскую и деревенскую? Ведь это же политическая безграмотность! Ты попал в лапы подхалимов и наушников, и их мнение для тебя ставится выше мнения членов Президиума! А подарки зарубежным деятелям? Во сколько сотен тысяч рублей они обошлись государству? И разве ты лично не присваивал себе кое-каких подарков, полученных за границей?

Наибольшую активность проявили Шелепин и Шелест. Очень резко, не стесняясь в выражениях, говорил Воронов. Остальные выступали более сдержанно. А вот главные зачинщики — Брежнев и Подгорный, а также Косыгин, вообще молчали.

Хрущев, оглушенный и подавленный, все же пытался возражать. Но его плохо слушали, грубо перебивали.

— Друзья мои! — чуть ли не взмолился он.

— У вас здесь нет друзей! — отрезал Воронов.

— Вы не правы, Геннадий Иванович,— возразил ему председатель ВЦСПС В. В. Гришин,— мы здесь все друзья Никиты Сергеевича.

Но к объективности взывал один лишь Микоян.

— Деятельность Хрущева,— заявил он,— это большой политический капитал партии.

Около 20.00 часов решили прервать заседание и собраться завтра с утра. Хрущев сразу же встал и вышел. Остальные договорились:

— К телефону сегодня не подходить! Вдруг он начнет нас обзванивать и ему удастся склонить кого-нибудь на свою сторону.

Однако когда у Микояна раздался телефонный звонок, он поднял трубку и действительно услышал голос Хрущева:

— Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал... Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду.

Когда утром 14 октября заседание Президиума ЦК КПСС возобновилось, эти слова Никиты Сергеевича, несомненно, были уже известны его оппонентам. Хрущев поблагодарил за то, что все же кое-что положительное было отмечено в его деятельности, и сказал:

— Рад за Президиум и в целом за его зрелость. В формировании этой зрелости есть и крупинка моей работы... Я уйду и драться не буду.

Он попросил извинения, если кого обидел, допустил грубость — «в работе все могло быть». Однако ряд предъявленных ему обвинений им был категорически отвергнут.

— Меня обвиняют в совмещении постов Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина. Но ведь я сам этого не добивался. Этот

вопрос решался коллективно, а некоторые из вас, в том числе и Брежнев, даже настаивали на этом.

Главным своим недостатком Хрущев назвал доброту и доверчивость, а также, может быть, то, что сам не замечал своих недостатков.

— Но вы все, здесь присутствующие, открыто и откровенно о моих недостатках не говорили и всегда поддакивали... С вашей стороны отсутствовала принципиальность и смелость.

Далее он коснулся внешней политики, приводил аргументы в защиту предпринятых в свое время мер во время Карибского кризиса, в отношениях с Китаем, — ведь все эти вопросы решались коллективно...

— Я понимаю, что это последняя моя политическая речь, как бы сказать, лебединая песня. На Пленуме я выступать не буду. Но хотел бы обратиться к Пленуму с просьбой...

— Этого не будет, — поспешил категорически прервать его Брежнев.

— Да, да, — поддержал Сулов.

У Хрущева на глазах появились слезы.

— Ну что ж, — нашел он в себе силы закончить, — я готов ко всему... Прошу написать заявление о моей отставке, я подпишу... Если вам нужно, уеду из Москвы.

— Зачем это делать? — подал кто-то голос.

Все поддержали.

Объявили перерыв на обед. Хрущев отказался там присутствовать, и его не задерживали. Он уехал домой. Уже без него обсуждали другие вопросы. Кого рекомендовать Пленуму новым первым секретарем, а кого — главой правительства? Решили — Л. И Брежнева и А. Н. Косыгина. А кто зачитает доклад на Пленуме?

Брежнев отказался:

— Мне как-то неудобно, раз вы выдвигаете мою кандидатуру на пост «Первого»...

Категорически отказался и Подгорный. Тогда поручили М. А. Сулову.

Пока утрясали все эти и другие детали, не раз звонил Семичастный:

— Леонид Ильич, вы дозаседаетесь до того, что к вам пойдут делегации членов ЦК для поддержки вас или для защиты Хрущева. Еле отбиваюсь от звонков...

— Успокой всех... В 18 часов — Пленум.

Однако сам Брежнев до конца спокоен не был. Он позвонил Егорычеву и сказал:

— Мы тут посоветовались и думаем, что прения открывать не следует: Хрущев заявление подал. Что же мы его будем добивать? Лучшее потом, на очередных пленумах, обстоятельно обсудим все вопросы...

— Ну, хорошо, — согласился глава столичной парторганизации. — Пусть будет так, однако, если потребуется, я к выступлению готов.

Свой доклад на Пленуме «О ненормальном положении, сложившемся в Президиуме ЦК в связи с неправильными действиями Хрущева» Сулов начал с того, что ему поручено изложить едино-

душное мнение членов и кандидатов в члены Президиума, а также секретарей ЦК. В том, что он зачитал, не было глубокого анализа положения дел в партии и обществе, не было речи и о конкретной программе действий. Зато много говорилось о «некоторых» лицах, близко стоявших к Хрущеву и якобы плохо влиявших на него. Особенно досталось зятю Никиты Сергеевича А. И. Аджубею за его зарубежные поездки.

— Позор! — раздражался то и дело возгласами зал.

— Исключить его из партии, отдать под суд! — кричали самые рьяные из обиженных и подхалимов.

Но многие сидели спокойно.

Суслов сообщил, что Хрущев в ходе заседания Президиума подавал неправильные-де реплики, фактически отрицал критику в свой адрес.

— Однако напор со стороны многих членов Президиума был настолько силен, что товарищ Хрущев вынужден был перейти к обороне, а потом прекратил сопротивление, признал правильность критики в свой адрес и попросил разрешения не выступать на Пленуме.

Заканчивая свой доклад, Суслов сказал:

— Товарищ Хрущев признал, что состояние здоровья не позволяет ему выполнять возложенные на него обязанности, и потому просит освободить его от занимаемых им постов.

И тут же зачитал письменное заявление Н. С. Хрущева на имя Пленума. Никита Сергеевич все это время сидел в Президиуме на крайнем стуле. Обхватил руками голову и ни разу не поднял ее, не взглянул в зал. Брежнев спросил:

— Нужно ли открывать прения?

— Нет! — отвечали ему из зала.

— Тогда проголосуем постановление, подтверждающее решение Президиума.

После голосования Хрущев встал и направился в заднюю комнату, Брежнев же не без пафоса подвел итог:

— Вот Никита Сергеевич развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчиваем культ Хрущева при его жизни.

Да, причины для торжества были. Какой успех: никакой крови, все решено голосованием, причем единодушно! Но все же до конца в успех задуманного верилось еще с трудом. И вот пример тому. Кандидат в члены Президиума ЦК КПСС и первый секретарь ЦК Компартии Грузии В. П. Мжаванадзе той же ночью сел в поезд и уехал в Тбилиси (официально он находился на лечении в подмосковном санатории «Барвиха»). Утром на одной из крупных станций ему приносят газеты, он их проглядывает и не видит сообщения о вчерашнем Пленуме. Что за чертовщина? Неужто произошло что-то непредвиденное? Ничего себе... Но вот по радио диктор приподнятым голосом объявляет:

— Передаем информационное сообщение о Пленуме Центрального Комитета КПСС...

Тут только Василий Павлович пришел в себя... На радостях даже рюмочку пропустил...

С тех пор минуло 25 лет. И участники тех событий по-разному

ныне их оценивают. «Вполне логичным и обоснованным» считает принятое тогда решение Н. Г. Егорычев. С ним согласен В. Е. Семичастный:

— В конечном итоге Хрущев завел дело в тупик. Добавлю к тому же неуправляемость.

Но в то же время он делает существенную оговорку:

— Если бы в Президиуме была коллегиальность, если бы и ЦК проявил свой характер, высказав свое мнение, думаю, что все было бы по-другому.

— Ошибок у него было немало, но их должны были разделить и другие руководители, работавшие с ним рядом,— полагает П. Е. Шелест.

Он уверен, что объективной необходимости заменять Хрущева Брежневым не было.

— Это мое твердое убеждение, хотя я сам принимал участие в случившемся. Сейчас сам себя критикую и искренне сожалею о том.

Подобного же мнения придерживается и Г. И. Воронов.

— Даже явные ошибки Хрущева весят гораздо меньше того главного, что он сделал... Мотивы у участников Пленума были разные, а ошибка общая: вместо того, чтобы поправить яркую личность, мы сделали ставку на другую, куда менее яркую. Подобные ошибки неизбежны, когда нет механизма критики руководства, исправления его ошибок, а когда надо, его замены.

Что ж, с этим замечанием, нам кажется, трудно не согласиться. И учитывая наш общий опыт, включающий в себя как достижения, так и утраты, потери на пути к реальному народовластию, нам надо помнить, не забывать главного: чтобы вскрываемые сегодня вчерашние ошибки не повторились завтра, надо покончить с командно-административной системой, сделать всех нас подлинными хозяевами — всюду, где мы работаем и живем. И чтобы любое решение от нашего имени не принималось без нас, без нашего участия, не считаясь с нами, с нашими интересами.

Ксения Плужникова

Из цикла
«Лирический герой»

Марине Цветаевой

На дощатом столе свой оставляю крест
и уйду из дома, пока все спят.
Есть дорога по полю, есть — через лес,
а одна закрыта — назад.

И котомки звон без отсчета лет,
и кузнечик в траве поет.
Столько верст стоит по холмистой земле!
Я забуду имя твое.

Умирать — вернусь. На высокий дуб
я закину мохнатый луб,
не взглянув на окно твое, чтоб в гробу
не проклясть судьбу.

От автора

Недавно я заболела и несколько дней провела в больнице. Все неотложные дела отошли на второй план, но жизнь из-за этого, как ни странно, не прекратилась.

Я лечилась, выздоравливала, слушала музыку, читала, говорила по телефону.

За день я успевала выспаться, так что ночами мне было абсолютно нечего делать.

В одну из таких ночей, когда я под храп с присвистом моей соседки-испанки тщетно пыталась уснуть, ко мне вдруг пришло мое детство. Оно было таким ярким, таким осязаемым, что я не могла бы от него отмахнуться. Да и зачем?

КОГДА СОВПАДАЮТ СНЫ

Сколько я себя помню, я никогда не была одна. Всегда с Верой, моей подругой. Да мы, если бы даже очень захотели, не смогли бы существовать раздельно. У нас попросту не было другого выхода.

Жили мы в одной квартире, родились почти одновременно, ходили в один детский сад, сидели в школе за одной партой.

Наши родители, комсомольцы двадцатых годов, слишком занятые в отдельно взятой стране, въезжая в нашу коммунальную квартиру, как-то не заметили, что им на две семьи выделили две абсолютно смежные комнаты. Сначала им было не до этого. Слишком много было других, более важных дел — Магнитогорск, Днепрогэс, ликбез, ну и, конечно же, Коминтерн...

А потом родились мы, а потом забрали Вериного папу, а потом началась война, — словом, всегда что-нибудь да происходило.

Наши мамы были профсоюзными работниками, так что с самого раннего возраста, еще до того, как у нас прорезались зубы, такие слова, как пленум, актив, решение бюро, встречный план, почин и профком, заменяли нам ладушки, соски, а подчас и редкое в то время молоко. Возможно, поэтому у меня в детстве был сильный рахит и бронхит. А наш районный детский врач любила меня, как родную дочь — столько мучений и забот я ей доставляла.

Таким образом, очень скоро оказалось, что у нас с Верой один папа на двоих. Не могу сказать, что он плохо к нам относился, просто мы его редко видели. Днем он работал, по вечерам учился, субботы в те доисторические времена были рабочими днями, а выходные

приходилось тратить на коммунистические воскресники, ликвидацию безграмотности и тому подобное.

Самым сильным моим желанием было пойти с папой куда угодно — в зоопарк, в цирк, на елку, — что же еще может сниться ребенку из недельной группы детского сада? Мне думается, всем ребятам нашего детсада снились по ночам одни и те же, очень похожие сны. Ведь дети видят сны независимо от того, есть у них папа или нет, приходит он вечером с работы домой или превратился во врага народа.

Моему папе невероятно повезло: из всех студентов его группы (он учился в Московском университете им. Свердлова) так и не успели стать врагами народа всего четыре человека — дочь самого Свердлова, жена Николая Островского, мой ничем не знаменитый папа и одна хорошенькая (судя по фотографии) девушка по имени Наташа.

В детском саду наши с Верой раскладушки стояли рядом, сны наши как-то раз совпали, и это, видимо, так подействовало на папу, что однажды в субботу, придя за нами в детский сад, он вместо того, чтобы везти нас домой, сел с нами в троллейбус и поехал на пристань к кинотеатру «Ударник» — кататься на речном трамвайчике по Москве-реке.

Теперь-то я хорошо понимаю, в чем состоит истинная прелесть редких праздников: в том, чтобы запоминаться на всю жизнь. Тогда же мне хотелось только одного — чтобы это продолжалось вечно.

Это была такая редкость — бежать с Верой вприпрыжку рядом с папой, видеть восхищенные взгляды встречных женщин (папа мой был очень красивым мужчиной, а я — похожа на маму), потом сидеть на верхней палубе с большущими вафельными колесиками сливочного мороженого в руках и облизывать их языком по окружности, стараясь при этом, чтобы не капнуло на новую матроску (у Веры колесико очень долго было целое, а я со своим расправилась в два счета, я всю жизнь такая), глазеть по сторонам и болтать от удовольствия ногами.

Осталась позади серая громада Дома правительства у «Ударника», — в одном из них жила мамина любимая подруга тетя Шура с сыном Юликом, моим ровесником. Этой зимой они вдруг перестали у нас бывать, и мне запретили про Юлика спрашивать.

Не успела я как следует вспомнить про Юлика, как меня обдало таким густым, таким прекрасным шоколадным запахом, что, не будь у меня во рту сливочного мороженого, я, возможно, так бы легко не отделалась. «Кондитерская фабрика «Красный Октябрь», — сказал папа и показал рукой в сторону, откуда мы только что отъехали.

Мы потом с Верой долго придумывали, как можно из запаха получить конфеты. Уж очень много добра пропадало зря, — впустую — такие запахи! «Мишка косолапый», «Раковые шейки», карамель «Популярная», наконец! Да только ничего придумать мы так и не смогли.

Проплыли мимо покрытые первой нежной зеленью деревья парка Горького, остались далеко позади нерасторопные баржи, фырчащие моторки, легкие прогулочные лодки. В лодках сидели веселые девушки и красноармейцы.

Наш трамвайчик заливисто гудел, они улыбались, махали нам вслед руками. Пахло весенним ветром — в Москве в мае по вечерам всегда пахнет весенним ветром, я это точно знаю, пахло клейкими тополиными листочками — от веток, которые держали в руках девушки на соседней скамейке, пахло нагретой за день водой...

Вера ела мороженое, я болтала ногами; сандалик на моей ноге расстегнулся и упал в воду.

Все заахали, заговорили, стало еще веселее. А папа ничуть не рассердился. Ведь у нас был праздник. Он просто нес меня на руках от трамвайной остановки на Страстном бульваре до самого нашего дома у Палашевского рынка. И это было просто замечательно. А Вера брела рядом и грустно смотрела на нас. Я тогда еще не понимала, как плохо человеку, если у него нет папы.

У подъезда нас поджидали мамы, моя и Верина. «Что ж ты делаешь, — расстроено сказала моя мама и взяла меня у папы. — Тебе нельзя было нести ребенка, у тебя такое больное сердце». — «Я знаю, — устало ответил папа, — но ведь она только что перенесла скарлатину, куда ж ей идти босиком».

Папа был молодой — двадцать семь лет, но сердце его никуда не годилось. Когда началась война, папу не только в армию, его даже в ополчение не взяли.

Мы с Верой еще немножко поиграли в тот вечер, а потом пришла из магазина Верина мама, и они ушли ужинать.

Вера была очень хорошей девочкой — такая маленькая, нежная, с тонким голоском. Ее все любили — воспитатели в детском саду, учителя в школе. Она никогда ни с кем не ссорилась и все делала правильно. Бывают же на свете такие люди!

ДАЛЕКО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ РУБАШКА

В конце декабря мы с Верой сидели в ее комнате под новогодней елкой, укладывали своих кукол спать и терпеливо ждали наступления праздника.

Сейчас раздастся звонок, придет с работы папа, все сядут за стол, зажгут елку, станут друг друга поздравлять, дадут нам подарки, потом нас уложат спать, а поздно ночью настанет новый, 1941-й год.

Наконец, раздался долгожданный звонок, и мы бросились в коридор.

В квартиру вошел папа, ведя под руку маленького седого старичка. Тот бормотал что-то на непонятном языке и испуганно озирался. Старик был одет в теплый тулуп, подпоясанный тонким ремешком, на голове у него красовалась большущая папаха. Несмотря на то, что он был так тепло одет, старик выглядел продрогшим, замученным.

— Ну вот, — несколько смущенно сказал папа, — привел к вам Деда Мороза. Будем вместе Новый год встречать.

Папа увидел старика на улице, недалеко от нашего дома. Старик стоял под уличным фонарем и плакал. Сосульки висели на его длинных усах, слезы катились по сморщенным щекам, он их даже не утирал.

В ту зиму в Москве стояли трескучие морозы.

Одиноким плачущим стариком в новогодний вечер на пустынной московской улице... Папа, который торопился с дежурства домой, не мог просто так проскочить мимо, не мог хоть на минуту не остановиться.

Путая абхазские слова с русскими, старик кое-как рассказал папе, что приехал сегодня днем в гости к сыну из далекой Абхазии. Отец — самый желанный, самый почетный гость в доме сына, неужели надо посылать телеграмму о его приезде?

Когда старик добрался до дома сына, оказалось, что тот в командировке. Об этом старику сообщили соседи. В квартиру старика не пустили, говорили с ним, не снимая цепочку с входной двери, — когда столько скрытых врагов стараются подорвать строительство социализма, кто может поручиться, что этот неожиданный гость — не один из них?

Так старик оказался на улице в полном смысле слова. В довершение ко всему, пока он узнавал в справочной на вокзале, как проехать к дому сына, у него увели баул с вещами.

В отличие от бдительных соседей стариковского сына, вся наша квартира приняла деятельное участие в судьбе старика. Его обогрели, искупали на кухне в большом корыте, посадили за новогодний стол. Мама надела на него папину рубашку. Нет, далеко не последнюю, у папы, кроме этой, было еще три.

Старый абхазец прожил у нас недолго, не больше недели, — пока его не забрал вернувшийся из командировки сын.

В ту зиму мы часто ели чудесные свежие мандарины — их прислал нам из Абхазии старик, с которым в новогоднюю ночь мой папа поделился своей далеко не последней рубашкой.

«НОРВЕЖСКИЙ ТАНЕЦ» ГРИГА

Вера была маленькая и нежная, а я — крупная и нескладная. Поэтому в наших играх Вера всегда была дочкой (что само по себе очень почетно), а я — сыном, отцом, матерью, мачехой — кем придется. Мы часто выступали на школьных утренниках — пели, танцевали, и Вера, если этого требовали обстоятельства, непременно была девочкой, а я, естественно, мальчиком.

С годами наше мастерство отточилось, репертуар пополнился, и где-то годам к десяти мы уже были самостоятельной, вполне сложившейся концертной бригадой.

Папа мой работал в госпитале, куда нас иногда приглашали выступать. Нет более благодарной публики, чем раненые солдаты и офицеры.

В госпиталь часто приезжали настоящие артисты, ну, а где артисты, там и мы — что стоит аккомпаниатору, пока артисты переодеваются и переводят дух, сыграть одну-две незатейливые мелодии!

Мы с Верой уже слегка охмелели от легкой славы, уже начали привыкать к тому, что стоило нам выйти на сцену, как кто-то в зале непременно говорил: «Ты смотри, такие маленькие, а так поют и танцуют!»

В тот далекий апрельский день сорок пятого года мы с Верой стояли за кулисами и ждали, когда настанет наш черед.

Кончилось первое отделение концерта. Настоящие артисты, отпев и отчитав свои номера, опять выходили на сцену и кланялись, усталые и улыбающиеся. Аудитория дружно аплодировала, кто сидя в инвалидном кресле, кто — лежа на специальной каталке, кто — опершись на костыль.

В дверях толпились свободные от дежурства сестры и врачи. А вот и мой папа, темноволосый, кареглазый, в накинутом на плечи белом халате, о чем-то оживленно беседует с пожилой медсестрой.

Мы с папой виделись очень редко. Домой он почти не приезжал, не мог подняться на наш высокий, без лифта четвертый этаж. Он жил в госпитале, он, как тогда говорили, был на военном положении.

На сцену вышел конферансье.

Подождав минутку, пока аудитория немного затихнет, он весело сказал:

— Дорогие товарищи раненые! Сейчас перед вами выступят наши юные друзья, маленькие артисты, Ляля и Вера. Они исполнят для вас шуточную украинскую песню и норвежский танец.

Все снова захлопали, и мы с Верой вышли на сцену. Вера была такая хорошенькая — в моей белой кофточке, вышитой украинским крестом, в синей пионерской юбке, к которой мы с вечера пришили яркие ленты, с блестящими елочными бусами на шее!

Я была одета не так роскошно, как она, но тоже по тем временам неплохо — в черные физкультурные шаровары, яркую клетчатую рубашку из американских подарков, на голове у меня красовалась мамина каракулевая шапка, под которую я прятала свои длинные косы.

Полилась незатейливая мелодия, Вера подняла на меня голубые простодушные глаза, доверчиво положила мне на плечо маленькую испачканную чернилами руку и тоненьким чистым голоском стала петь, стала уговаривать меня, бравого молодца, жениться на ней.

Чего только она мне не обещала, чем не привлекала! «У меня спидница есть», — показывала она на свою украшенную яркими лентами юбку.

— Нет, — резко отворачивал от нее голрву непреклонный парень (то есть я). — На что мне спидница, коли ты не белолица?

— Вот дает, вот отшивает! — хохотал наголо остриженный солдатик в первом ряду, поправляя сползающую на лоб повязку.

А Вера, не смущаясь отказом, продолжала натиск: «У меня корова есть», — и она показывала рукой на сцену, где, как предполагалось, должен был находиться хлев.

— А на что же мне корова, если ты не черноброва? — презрительно отзывалась я, все больше входя в роль.

После коровы мне предлагалась хата, от которой я тоже от-

казывалась,— и, наконец, после того, как Вера с торжеством общала, что у нее есть червонцы, я к большому одобрению публики обнимала Веру за плечи и уводила ее за кулисы.

В зале хохотали, аплодировали, мы переводили дыхание, чтобы через минуту выступить со следующим номером — норвежским танцем.

Мне всегда казалось, что норвежский танец Грига можно рисовать, такая у него живописная мелодия. Пианист проигрывал несколько тактов, и на сцену выходила Вера. Она не выбегала стремглав, как в каком-нибудь там гопাকে, она торжественно вышагивала — сначала ставила ногу на пятку, потом немножечко поднимала и притопывала ею, получалось очень привлекательно (у нас так одно время все девочки в классе ходили). Потом таким же манером на сцену выходила (вернее, выходил) я.

Потом мы кружились, Вера в шутку падала, я ее поднимала, а она опять падала. Зрители смеялись, музыка играла, мы сходились, расходились, делали всякие па и, наконец, убегали.

Мы еще и еще раз выбегали кланяться, и я все смотрела, стоит ли в дверях папа, видит ли он меня. Помню, в тот последний раз папа хлопал вместе со всеми, но на сцену не смотрел, опять с кем-то разговаривал.

В этот день нам с Верой пришлось ехать домой после выступления одним — папе стало плохо с сердцем, и мама осталась с ним на всю ночь.

Стояли чудесные весенние дни, лопались на деревьях почки, Москва содрогалась от грохота праздничных салютов — наши были в предместьях Берлина. Все ждали конца войны.

В ночь после концерта мой папа умер. Он был последним живым папой в нашей квартире, всех остальных уже не было на свете — один был враг народа, а двух других убили на войне.

Через пару дней после папиных похорон я шла в булочную, получать по карточкам хлеб.

— Эй, Лялька, привет, что новенького? — донеслось до меня откуда-то сверху.

Я подняла голову. В окне второго этажа стояла, перегнувшись через подоконник, моя подруга Лора и приветственно махала мне левой рукой. В правой у нее была зажата сайка с повидлом, от которой она, не переставая махать, откусывала кусок за куском.

Лоркина мама была зубным врачом и, как говорят, имела обширную частную практику. Лора постоянно что-то ела, она была самой (и, пожалуй, единственной) толстой девочкой нашей школы.

Я посмотрела на Лорку, на ее толстые, измазанные повидлом щеки, на рыжеватые волосы и тихо сказала:

— У меня папа умер.

На лице у Лорки выразилось изумление.

— Да не может быть! — воскликнула она и положила сайку на подоконник.

— Может,— сказала я и пошла дальше.

Вечером я долго сидела у окна, не зажигая свет. Я обожала московскую весну — заливиный перезвон трамваев у Тверского

бульвара, девушек в расстегнутых легких пальто, торопливых военных на улице Горького, неровные «классики», наспех нарисованные куском рыжего кирпича на отмытом от снега, слегка нагретом за день асфальте, стаи девчонок, галопом несущихся через бешено крутящуюся веревочку... А сейчас мне было так страшно — неужели я любила все это?

«Московское время двадцать один час тридцать минут,— сказал у меня над головой голос диктора.— Слушайте норвежский танец Грига». И полилась мелодия, которую я когда-то хотела нарисовать, до того она была живописной.

И вдруг я отчетливо поняла, что чувствует человек, когда он жалуется: «У меня болит сердце!» Сердце у меня болело, ныло, сжималось. А может быть, то же самое чувствовала маленькая Вера, когда она понуро брела вслед за нами,— мы ездили на речном трамвае, я потеряла сандалик, и мой папа нес меня на руках, а у нее папы не было?

Звучал у меня над головой норвежский танец Грига, я сидела, уткнув мокрое от слез лицо в ладони, и снова передо мной вставала одна и та же картина — веселые лица раненых, грохот аплодисментов, Вера, маленькая, изящная, выходит на сцену. Правая нога на пятку, потом притоп, потом то же — левой ногой. Сейчас мой выход.

А я стою у занавеса, я слушаю мелодию и все стараюсь увидеть моего папу. Вот он стоит в дверном проеме — темноволосый, кареглазый... мой папа — и с кем-то оживленно разговаривает. Папа, ну обернись же, папа, ну посмотри на меня!

Темно-синее московское небо. Грохот победных салютов. Лучи прожекторов в вышине и тяжелые гроздья ракет — лиловые, желтые, красные, взлетающие вверх и осыпающиеся разноцветными искрами... Неповторимая Москва сорок пятого года.

Я до сих пор не люблю «Норвежский танец» Грига.

Еще в почете в дольном мире
Певучий эолийский строй,
И впереди в страну Наيري
Благословенная гастроль.

И говор дикого нарзана
Сухое горло холодит,
И муза трезвого Сезанна
О царстве разума твердит.

Еще в Москва-реке рыбешка
Спешит подальше от крючка,
И в ожиданьи ловит блошку
Палач в приемной ВЧК...

На кухне пахнет керосином,
В сортире крысы делят пай.
Гремит посудным клавином
Московский коммунальный рай.

Как встарь, стоит на месте мебель,
Но кисой ластится беда,
И в час бессонницы на небе
Горит масонская звезда.

И колокол-язык немеет,
И под рубахой дремлет страх,
В угрюмом русле кровь мелеет,
Стекая с допетровских плах.

Цветут полипы и наросты
На кумачовых площадях.
Растут горбатые помосты,
Котлы татарские чадят.

Идут таинственные пробы,
И в кузовах грузовиков
Скрипят поваленные гробы,
Отрада жирных червяков.

Пернатых катятся рулады
С пюпитра Воробьевых гор,

Заря горит, как слой помады,
Как губы мертвые Марго...

Душа-Психея запыхалась,
Изрыто гнидою руно,
И древний иудейский хаос
Глядит в отверстие окно...

Не слышно городского трама —
Дыра — во времени провал —
Кривые бревна катит Кама,
И бьет крылом седой Урал.

Пойдешь направо — ногу сломишь,
Налево — выест очи дым.
И ворон каркает — Воронеж,
И черный грач кричит — Чердынь...

И на путях жестоковыйных
Сыграет северный Борей
Allegro пыльных флейт ковыльных
И Largo сирых лагерей...

Умолкни, ода, спи, эклога,
Ни слов, ни музыки, ни слез.
У залетейского порога
Пыхтит последний паровоз.

И муза с черного перрона
Швыряет лиру в пустоту —
Обезумевшая Горгона
С кошачьей головой во рту...

Сегодня день полочки, и мы, как обычно, встретились в пять часов у проходной и пошли на Лебединку — посидеть там в кафешке над озером, винишка попить, поговорить о чем-нибудь таком... ну, в общем, как настоящие люди отдохнуть, использовать, как говорится, свой заслуженный... черт, вот не могу никак выразиться, передать это самое, как его... ну, в общем, сейчас мы выпьем и, может быть, получится. Я, понимаете, хочу сказать, что мы не шантрапа какая-нибудь, которая вон побежала уже в пивнуху — нажраться там, а потом морды друг другу чистить. Не-е, мы — это совсем другое дело, мы — это не они, мы — это, знаете, совершенно другое, да вы сейчас сами увидите.

«Мы» — это Ильмирка Джафарова, Танюха Лепиц, Леха Почимасов и я. Мы все учились в одном ГПТУ, в одной группе и еще тогда вместе все кучковались. Учились мы на закройщиков, только никто из нас ничего не кроит. Ильмирка, например, та комсомольский воjak, лидер общественной жизни — чуть не каждый день куда-то всех записывает, в кружки там всякие, отряды какие-то летучие, десанты... молодец, просто молодец! Большой человек, что и говорить. А Танюха, эта вообще. Она личный секретарь директора, это вам не цацки-пецки. Ну вот попробуйте нарочно, пройдите в кабинет к самому. И не пробуйте даже, ничего у вас не выйдет, побольше вас люди об этом мечтают. Да если я вам назову хоть одну фамилию из тех, которые толкуются в приемной, у вас, уверен, душа в пятки уйдет. А Танюха, ну, любому из них может запросто сказать: «Ваш вопрос решить положительно в данное время, учитывая сложившиеся обстоятельства...» В общем, гуляй, Вася! Вот так-то вот. Да вы и до приемной-то вряд ли дойдете: на проходной — Леха Почимасов, начальник ВОХРа. Фуражку с кокардой носит. А на боку пистолет в кобуре, настоящий пистолет, представляете! У вас вот есть пистолет? То-то! У Лехи даже собственный кабинет имеется — половина синенького вагончика, что у проходной. Ну и я тоже не последний человек. Далеко не последний! Я самый главный кладовщик, у меня на складе... Нет, не буду я вам говорить, что у меня там, на складе, имеется: отбою от вас потом не будет, знаю я, вам только скажи. За мной, знаете, сколько таких, как вы, бегают; на мне одном, можно сказать, все и держится.

Да! Еще и Рустик сейчас подскочит: он в «Кристалл» побежал, усики свои подровнять. Рустик, он... вот, ей-богу, не знаю, чем же он занимается у нас, кажется, в отделе... да нет, вовсе не там! Или, постой, вроде я его в лаборатории недавно видел, в халате он там белом ходил... Не! После этого я его с блокнотом и ручкой у проход-

ной встречал, опоздавших он записывал. Только это когда было?.. В общем, черт его знает, кто он! Сейчас придет, увидите.

Вот так вот мы все нашли себе место, без всяких там институтов нашли. Вот вам и ГПТУ — Господи Помоги Тупому Устроиться! Устроились. Ничего даже устроились, вино вон пьем марочное, не самогон, и не под забором где-нибудь — на озере Лебедино, а это одно из самых красивых мест нашего города, любимое горожанами для... это... А! Излюбленное место отдыха многих горожан, — не многих, а всех то есть! — гордость и... Короче говоря, хорошо тут душе отдохнуть.

Над нами тент парусиновый, бахрома свисает, ветра совсем нет; вода в озере туго натянута, пух тополиный наискосок пролетает и к воде тихо прилепливается. Домик яркокрашенный застыл посередине, и лебеди приткнулись к нему, шеи свои под крыло позасовывали и не шелохнутся. Красивое все-таки это озеро! Только особо вглядываться не надо, надо просто глазами скользить так поверху и о чем-нибудь там своем думать. А если хорошенько поглядеть, сам не рад будешь, расстроишься, к черту. Тины в этом озере больше, чем воды, стенки зеленые от слизи, водоросли клубками шевелятся под водой, как чудовища какие, камыш, поверху обрубленный, почернелый... Нет, лучше не вглядываться! Сиди себе спокойно, скользи взглядом...

— Ну что, когда на лотос поедем? — Ильмирка пошлепала сланцем об пятку, оглядела всех с нетерпением.

— Да, надо бы как-нибудь, — Леха вздохнул, щурясь на бутылку: еще много...

— А, — Танюха рукой снизу вверх махнула, пепел от сигареты на скатерть посыпался.

— Лотос — это да-а. — Я хотел дальше говорить, но Ильмирка перебила:

— Ну так вот и будем: «да»! «конечно»! С того года уж дакаем, что вы какие, прям не знаю!

— Здорово там, говорят. — Танюха потянулась, руки за голову заложила, грудь обтянуло... Хм. Да-а...

— Да давно бы уж! — тут Ильмирка рукой махнула, и бокал с вином — кувырк! Леха кинулся подхватить, да не успел, чуть-чуть не успел! И теперь с болью в глазах разглядывал лужицу на скатерти.

— Полижи, — посоветовала Ильмирка. Танюха хихикнула, а потом из своего бокала плеснула в Лехин (в этом кафе больше нормы вина не дают, хоть ты на коленях их проси, хоть головой об стойку бейся — не дадут больше)...

Что за лотос? О-о! Это у самого синего моря, в заповеднике... Правда, никто из нас лотоса этого не видел, только на открытках, что в киосках продают. Все мы тут родились и выросли, а не видели... Так получилось. Ильмирка, правда, когда маленькая была, говорит, видела, папа ее туда возил. Смутно, говорит, помню: плывем, плывем на лодочке через камыши, плывем — и вдруг раз! — равнина розовая, полыхает вся, сколько глаз хватает — все лотос вокруг... Да, надо, конечно, надо съездить, своими глазами, как говорится, посмотреть, что за чудо такое, да как-то вот все...

— О-ой, смотрите, смотрите! — прошептала Танюха, глядя куда-то между мной и Лехой.

Мы оглянулись... И все разом встали...

Оля... Олечка Алеутова приближалась к нам! Лилось вино из наклоненного бокала в Лехиной руке; Танюха застыла со вскинутой рукой, и сигарета чуть ли не воткнулась в Ильмиркину щеку, а ногу мою, кажется, насквозь проткнул каблук комсомольского вожака. Оля Алеутова приближалась к нам! Сейчас, сейчас я расскажу, объясню, кто это Оля Алеутова, немного только приду в себя, сейчас... В голове вихри несутся, ничего не соображу... не сон ли это?

Тут Ильмирка дернулась навстречу Оле, нога моя хрустнула под ее каблуком, и я понял: это не сон. И тут же Танюха с Ильмиркой подняли такой визг и так запрыгали вокруг Олечки, что нам с Лехой долго пришлось искать брешь, чтоб прорваться к ней. И мы прорвались; но почти сразу были отброшены назад — губы Оли чуть только коснулись моей щеки! — а «здравствуй, миленький» уже звучало далеко, за прыгающими плечами этих двух... ух! не знаю, как их назвать, черт бы их побрал!

И тут мы увидели, что Оля пришла с Рустиком. Он стоял подбоченясь, одной рукой поглаживал усики свои и гордо так поглядывал, будто хотел сказать: «Вот какой я молодец!» Он решил, подождав, вмешаться: ведь это ему мы обязаны, что Оля тут!

— В зеркало смотрю, — важно и слегка небрежно начал Рустик, — из дамского зала выходит наша королева. А у меня, представьте себе, лицо намылено и простынь тут, и салфетка. Все, подумал я, уйдет! Но я не растерялся...

— Ящик вина! — заорал Леха.

— Вот, посмотрите, — тыкал Рустик пальцем в непобритую половину лица. — Посмотрите все...

— Вина!

— Да не дадут тебе ящик! — смеясь, усаживала Леху на место Танюха.

— Что-о? Да я сейчас побросаю в озеро все эти столики вместе с ними!

Мы все учились с Олечкой Алеутовой, в одной группе с ней учились! Красивых девчонок у нас было навалом, но Оля... Оля — это... Нет, не могу! Не получается. До того она красивая, что даже никто, кажется, не «ходил» с ней по-настоящему, как с другими девчонками: как-то не получалось с ней! не могли как-то с ней! Записочки, письма посылали ей, поджидали после уроков, возле дома ее поджидали, один на один выходили, «морды квасили» друг другу; был случай, когда парнишка с Косы после «дуэли» привел с собой шоблу, а тот, кого они пришли бить, своих криушинских привел — и до сей поры Коса с Криушей враждуют! Добивались ее, но как только Оля выбирала кого-нибудь, пацанчик этот сразу почему-то терялся, сникал как-то... и «отваливал». И со мной так было. И с Лехой... Со всеми так было. Эх!

А теперь вот она, сидит среди нас (мне не повезло, не успел я поближе к ней место захватить) и только успевает на вопросы отвечать, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону:

— Да, замужем. Он... в общем, по иностранным делам, все время

почти за «бугром»... Почему, я тоже... просто в этом году хочу здесь пожить, соскучилась... Сейчас из Крыма еду. Нет, на машине. Да, сама...

— Сама водишь? Ни... ничего себе! — ахнула Лепиц, наваливаясь на меня плечом (ох, ну и мосол у ней! и потом так и шибает из-под мышек).

— А сейчас — в Прибалтику? Прямо сейчас? — Джафарова с другого боку навалилась (а эта как студень вся).

— Куда-а?! — Леха замотал головой, будто ему защемили ее щипцами, и он пытается вырваться. — На лотос махнем! Знаешь, как там: едешь, едешь сквозь камыш — и вдруг на тебе! — Леха вытаращил глаза, точно и вправду увидел перед собой розовое поле. — Сказка! чудо! чу-удо! Прямо сейчас махнем!

— У меня имеются ребята в порту, — важно сказал Рустик, — хоть на край света!

— А точно! — Ильмирка завизжала. Я начал выкарабкиваться из-под них обеих, чтобы слышать Олю, видеть Олю... ох, эта Ильмирка, кажется, сейчас раздавит меня!

— Нет, не-ет, — прокатился эхом голос Олечки, — я бы очень хотела, но...

Я вылез наконец и шагнул к стойке. Гусар в белом халате со скрипом тер полотенцем бокалы.

— Вы уже свою норму получили, — сказал гусар, — и пришедшие тоже. Все.

Так, дорогая моя жена... короче, я потерял получку! Всю. Откуда я знаю «где»! Как-нибудь проживем. Будет пальто для дочери, будет! Найду где-нибудь. Зарежу кого-нибудь в переулке. А, иди ты в...!

— Что вы хотите? — гусар разглядывал меня сквозь сияющий бокал.

Вообще-то я хотел бы многое. Я хотел бы, например, быть консулом в Париже, я хотел бы сейчас плыть в лодочке, и камыш чтоб шуршал, шуршал — и вдруг... «Смотри! Смотри!» — глаза... нет, не могу сказать, какие это глаза, это такие глаза, это... это Олечки глаза! «Это все мне?» — глаза охватывают розовое полыхание, и от щек ее близкой полыхание...

Я положил на стойку большую такую зеленоватую бумажку.

— Без сдачи.

Гусар полотенцем смел бумажку со стойки на свою сторону.

... — Оля, а помнишь Квелого? — Леха одну за другой откупоривал принесенные мною бутылки, щедро разливал по бокалам, через край лилось. Широкая душа у него.

— О-о! У-у! А-а! — Столик так запрыгал, что Леха распростер руки над закачавшимися бутылками.

Да, о Квелом, Припудренном, Звездном Мальчике — о нем стоит рассказать. Когда он шел, голова у него моталась во все стороны, как на резиночке, из уха постоянно что-то текло, ячмень у него вскакивал по очереди то на правом, то на левом глазу, а сами глаза ни черта не видели, вечно он натякался на людей, а они шарахались от него. И он был влюблен в Олечку! Представляете? Понимаете? И как еще влюблен! А она с ним такое вытворяла, что даже иногда

жалко его, дурака, становилось (вон как за столом: «А помнишь, как он стихи тебе писал? А помнишь, как он...»). Однажды она сказала ему, что пойдет с ним в кино, если он... ой, не могу, со смеху лопнуть можно! если, если он войдет к директору в кабинет и вынесет бюст Пушкина, что на столе стоит. Все мы собрались в коридоре, все училище собралось смотреть на это. Квелый, споткнувшись о порог, исчез в директорском кабинете. Через минуту он вышел. Он шел с зажмуренными глазами, шел прямо как-по ниточке, и голова даже не моталась, он шел, прижав к груди тяжеленный бюст, а мы все надрывались со смеху. И вот дверь директорского кабинета тихонько так открылась, и сам Андрей Кириллович осторожно так вышел и смотрел вслед Квелому, открыв рот. Только сама Оля, как я запомнил, не смеялась. Она стояла и смотрела на все это, будто издалека откуда-то, равнодушно как-то смотрела. Так же вот смотрела она с парадной лестницы, когда внизу, во дворе, дрались косинские с криушинскими — человек сорок дрались! А она стояла молча на ветру, руки в карманах плаща, шарфик только прозрачный развевался, и смотрела сверху на молотиловку, как на пустое место. До самого конца смотрела, пока не подъехал целый грузовик курсантов и пока действительно не осталось пустое место, где только штакетины поломанные валялись да шапки.

— Да-а, Оля,— сказал Леха неожиданно тихо (а то все орал),— улетела в дальние края... А помнишь?..

А помнишь, Олечка, в марте это было: пустая набережная, красное солнце, и ветер обдирал лицо, как наждаком, и мы с тобой спустились вниз, к самой воде (вся наша «кучка» сорвалась с последнего урока — пошли на набережную, а по пути набрали вина). Мы вдвоем остались, все побежали смотреть, как в парке грохнулось трухлявое дерево и разломало заколоченный на зиму киоск «Сокиводы». Я тоже хотел пойти посмотреть, но ты сказала вдруг: «Да ну, пойдем лучше туда...» И мы спустились к Волге, где ступени каменные уходили прямо в воду. «Путь в подводное царство»,— сказала ты и, покачнувшись, привалилась ко мне плечом. А я... я взял тебя за плечи и поставил прямо, думал, нечаянно ты... «Давай возьмемся за руки и пойдем туда»,— показала ты рукой на дрожачие под водой ступени. «Утонем же»,— я сказал. Ты обхватила себя за локти и стала смотреть на закат над Волгой, слегка прищурясь...

— Эй, эй! ты что? — Леха вытаращил на меня глаза, и все тоже смотрели на меня. На пластмассовом блюдечке передо мной лежало вдребезги расквашенное пирожное. Рука у меня была вся в белом розовом креме.

— Вы там потише,— гусар подал голос из-за стойки.

— Дайте кто-нибудь сигарету,— сказала Оля, будто ничего не было, даже не глядела на меня.

Все тут же перестали на меня тарашиться, по карманам захлопали, спички забрякали... Но Рустика зажигалка щелкнула, опередив Лехину спичку.

— Оля,— сказал я, глядя на ее полупрозрачные пальцы с перламутровыми ноготками в блестках.— Хочешь, в озеро прыгну? — И в глаза ее посмотрел.

— Тебя же оштрафуют, миленький,— Оля откинулась на спинку

стула и сквозь дым глядела на меня, прищурясь.— Или утонешь еще...

— Пусть хоть...— я не договорил. Я увидел, как вдруг изменилось ее лицо, а глаза остановившиеся глядели куда-то вверх моей головы. И все тоже это увидели. И обернулись...

У входа стоял Квелый.

Он стоял, загородив проход, и какой-то в шляпе выныривал то из-за правого его плеча, то из-за левого — пытался протиснуться. А Квелый, наклонив голову с коротким ежиком волос, стоял, выставив прижатую к бедру руку, и на пальце его крутился, звякал ключ на длинной цепочке.

Он не смотрел на нас; только на Олю... А Оля, так и не сводя с него глаз, ткнула дымящуюся сигарету в пепельницу, сломав ее. Руки ее запрыгали по столу, хватая и запихивая в сумочку зеркальце, кошелек лаковый... ложечку для мороженого.

Квелый крутил цепочку с ключом и говорил, почти не разжимая губ:

— Живее, Оля, живее!

Январь 1989. Москва

КЛЕЙ | **Степан Царев**
9 лет

Мама мне купила клей
И сказала: «Не разлей!»
Я инструкцию читаю —
Ничего не понимаю.

Склеить можно клеем этим
Все, что только есть на свете.
Склеил он сперва газеты,
А за ними и монеты.

Склеил чашки, сковородки,
Вазы, блюда и колготки,
Склеил тумбочку с диваном,
Склеил чайник со стаканом,

Склеил все слова в тетрадке,
Лук с редискою на грядке,
Гвоздь приклеил к молотку,
А болтливость к языку.

Склеил птиц с их голосами,
Склеил шапки с волосами,
Склеил поезд и движенье,
Зеркало и отраженье.

Склеил горы с высотой,
Склеил вечер с темнотой,
Маму склеил с красотой,
Звуки склеил с немотой.

Стул приклеился к стене
И глагол к частице «не».
Клеил все, что попадалось,
Пока клея не осталось.

Под косым железным козырьком со скрипом раскачивалась лампочка. Света она почти не давала. Желтая и тусклая, покрытая слоем пыли. Лицо сторожа, и без того безобразно-желтое, в свете этом казалось лицом покойника, которому надоело лежать на железном столе в морге, и он решил выйти на воздух покурить. Легко перебегая с сырой темной стены на выщербленный асфальт, за горбатой спиной сторожа покачивалась его тень. Напротив сторожа сидел, тоже покачиваясь, тоже похожий на заскучавшего покойника, молодой врач. На враче было модное демисезонное пальто, сильно испачканное на спине. Когда врач поводил руками, острые полы пальто шевелились. Он был совершенно пьян, и сторожу скоро стало заметно, что на ногах медика нет ни носков, ни ботинок. Скрюченные синие пальцы босых ног впились неподвижные в ледяной осенний асфальт.

— Йогой, что ли, занимаетесь? — спросил сторож. Он затыкнулся самокруткой и пустил под лампочку густой шар дыма. — Теперь все модой занимаются... Али, может, пропил?

Врач закивал. Он взялся рыться в карманах, наверное, пытался найти в них сигареты. Не нашел. Сдул после длительного размышления крошки табака с ладони и спросил хрипло:

— А может, спиртiku найдется? Ну, малек!

— Малек найдется, но только вы побрезгуете. Спирт-то у нас какой? Из-под «жмуриков», ежели какого нужно долго сохранять для науки, ну, скажем, проданся человек науке, ну, навроне как раньше душу дьяволу продавали... и нужно сохранить его для эксперименту... В формалине нельзя, заморозить нельзя, ну, опыт такой, так его в спирту держат. — Он опять выпустил шар дыма. — Я, наверное, тоже проданся... Не шутка, а литров десять выходит, а то больше... Ну а когда его заберут, ну чтобы порезать на кусочки или, скажем, отварить, то спиртик-то и останется... Выливать полагается, ну так кто ж такое добро в уборную спустит.

— Давай, неси! Не привыкать, — отозвался молодой врач. — Это все равно. То же самое, что когда баба рождает, из нее литра три крови вытекает, а из этой крови гематоген делают и детишкам дают. Гинеколог я, — признался он. — Клятву Гиппократу давал.

— Клялся, значит, — посочувствовал сторож. — Клясться вредно, господь наш И-иисус еще говаривал, не клянись, мол, нехорошо это.

Долго выбирая из огромной тяжелой связки нужный ключ, сторож краем глаза изучал медика и остался наблюдением доволен.

Когда под нажатием его рук дверь морга отворилась, сторож без всякой опаски пропустил его за собой.

— Ты парень привычный, чай, запахов всяких и видов не боишься? — выпытывал сторож, отпирая вторую дверь, окованную тонким железом.

Острый тягучий запах формалина ударил в нос медику, и он звучно чихнул. Удвоенный и утроенный эхом огромного помещения чих разнесся громко и весомо.

— А чего пьяному человеку бояться,— продолжал рассуждение сторож.— Пьяный, он все равно, что покойник, только покойник лежит себе смиренно и не шевелится, а пьяный бужит почему зря!.. Ты, кстати, сам не буйный?.. Опосля спиртику бужить не станешь?

Под пятиметровым, крашенным голубой краской потолком вспыхнули, яростно оскалившись сквозь свои решетчатые круглые сетки, пятисотваттные лампы. Покойники лежали в полном порядке, все без одежды, на спине, у каждого собственный металлический узкий стол, нос в потолок, а к ноге привязана соответствующая бирка. На бирке значился номер и имя покойного. Неподвижно висели на железных масляных тросах острые железные крючки, один крюк на двадцать столов. Двигаясь за сторожем, раскачиваясь на ходу, медик вглядывался в твердые белые лица-маски.

— Красивая какая женщина! Какая красивая! Чудо! — склоняясь над одной из покойниц, тихо проговорил он.— Подлинно греческий профиль! — Женщина лежала прямо на спине, голубые ее стеклянные глаза смотрели вверх. Чуть наклонившись, медик, как в двух зеркальцах, увидел в этих глазах отражение своего пьяного отечного лица.— А волосы, волосы какие! Посмотри, какие у нее волосы!.. — Он дрожащей рукой зачерпнул сухие волосы женщины.

— Все бы хорошо, всем хороша! — усмехнулся сторож.— Жалко вот, что мертвая.— Он взял картонку, привязанную ниткой к ноге покойницы, и прочитал: — Ольга Ивановна Гнедая. Как младенчиков, метят их. Новорожденному вот тоже к ножке бирочку привязывают, это чтоб не перепутать.— Он выпустил еще один шар дыма и затушил сигарету о нос ближайшего покойника.— И ведь наверняка же все больше хорошие люди были, все больше ведь молодежь... А плохой человек, я тебе по секрету скажу, ты меня, старика, слушай, до миллиона лет живет, только документы меняет, чтобы подозрений со стороны милиции не было... А вот этот,— он пнул в живот огромного синего мужчину с разбитым черепом,— и вовсе без номера, без бирки, значит, посеял где-то, и теперь, бедолага, ведь так и пропадет безымянный!.. Ни могилки тебе, ни ячейки в крематории...

Медик на некоторое время перестал видеть что бы то ни было вокруг себя. Он смотрел на свои пальцы, представляя, что большой палец — это он сам, а мизинец — это она.

— А я бы женился на этой Гнедой. Оля, Оленька — имя замечательное,— бормотал он, вытаскивая под козырек на улицу огромную ржавую желтую канистру со спиртом.— Честное пионерское — женился бы, комсомольского дать не могу, потому что из комсомола был аморально исключен.

Сторож снял с куста граненые автоматные стаканы и раздумчиво сказал, присаживаясь на скамеечку:

— Где яблоки растут, где груши, а у нас стаканчики на ветках... Присядут люди, выпьют и добрый след за собой оставят. Можно воспользоваться. Бог наш Иисус Христос на этот счет указаний не оставил, стало быть, можно... Только надо сполоснуть.— Он протер стаканы тряпкой и разлил по половине.— На, прими! Может, полегчает, а может, и на стол туда спать пойдешь...

— А дайте мне ее напрокат,— после второго стакана попросил медик.— Утром привезу, в целости и сохранности.

— Кого дать-то, не пойму?! — удивился сторож.

— Ну ее, Гнедую Ольгу Ивановну, вот ту...

— А зачем тебе труп-то,— добродушно заинтересовался сторож.

— А я ее маслом напишу... Ну, картину в смысле! Я ведь художник, голых женщин всю жизнь рисую... Хотел поступить в Суриковский, а случайно поступил в медицинский.— Он икнул.— Гинеколог я, понимаете, тоже голые женщины...

— Чего уж тут не понять, ясно все, но я тебе ее не дам.

— Дайте, до утра же только!

— Нет, точно не дам! На-ка, выпей еще! А если тебе сей секунд бабу приспичило, то посоветовать могу. Ты обойди морг, и там будет такое желтое двухэтажное зданье, с другой стороны. Если в окне на втором этаже зеленая лампа горит на подоконнике, стучи, не стесняйся!..

— Публичный дом там, что ли?

— Не он, но похоже на него...

— Так у меня же денег нет, чем я платить буду?.. Вы бы мне лучше эту Гнедую уступили,— он почти заныл.— Ну хоть до утра! Сторож хитро подмигнул:

— Ты иди, куда говорю, там денег не берут!

Глядя себе под ноги и от этого раскачиваясь, медик обошел морг. Он держался рукой за стену и что-то бормотал, а когда поднял голову, то на фоне серого рассветного неба увидел желтое двухэтажное здание. Он поискал глазами окна с зеленой лампочкой, но окна все были черны.

«В номера,— подумал он, и ему почему-то очень понравилось это слово, вывалившееся вдруг из кармана подсознания.— В номера не пускают!»

Стоять босиком было холодно, но какое-то время он стоял, переминаясь с ноги на ногу. Посмотрел под ноги, посмотрел на небо, опять взглянул на окна. На втором этаже, правая от угла, ярко светилась малахитом шелковая штора. Он шагнул к двери, стучать не понадобилось, дверь сама тихонечко отворилась, и из темноты холла прозвучал хрипловатый знакомый голос:

— Сюда проходи, только тихо.

В темноте медик с трудом различил бархатную куртку служителя с круглыми металлическими пуговицами, отблеском далекого фонаря мелькнул козырек фуражки, что-то было знакомое в этом темном пятне лица, в этом голосе.

— Это публичный дом? — нисколько не трезвее от неожиданности, спросил медик.

— Нет, здесь денег не берут.

Медик чувствовал, что его, вежливо поддерживая за локоть, увлекают куда-то вверх по крутым ступеням.

— Сколько это будет стоить? — шепотом спросил он.

— Сам решишь,— ответил знакомый голос, и медик почти догадался, кому он принадлежит.

Лестница окончилась, и он ощутил ногами ворсистое тепло ковра. В глубине коридора горела лампочка. Обстановка вокруг напоминала обстановку провинциальной дорогой гостиницы. По обеим сторонам длинного коридора тянулись лакированные с золотыми номерами двери.

— Номер шестьсот восемьдесят три? — шепотом в самое ухо спросил его швейцар. Швейцар двигался немного впереди, и разглядеть его лицо было невозможно, только плавно маячила узкая зеленая стена.— Ольга Ивановна Гнедая?

— Ну да, да! Оленька! — плаксиво пожаловался медик.— Но он, гад, мне ее не дал! А я ничего дурного, я только портрет ее хотел написать, обнаженную... И утром бы вернул...

— Уже утро,— швейцар повернулся к нему, но медик опять не увидел его лица, лицо прикрывал черный козырек глубоко надетой фуражки.— Здесь.

На полированной двери стояли рядом три золотые цифры 683. Швейцар костлявой рукой тихо постучал в дверь, и та тут же отворилась.

— Не платите много, желаю удачи! — посоветовал швейцар и втолкнул медика внутрь комнаты.— Не плати, иначе это может для тебя неважно кончиться...

Медик услышал за своей спиной знакомый смехок, и дверь так же бесшумно, как и отворилась, захлопнулась за его спиной.

Колебалась на окне шелковой тенью штора. Стояла большая лампа с круглым зеленым абажуром. Меблировку номера составляли два кресла, обшарпанный журнальный столик и широкая софа с белой обивкой. На софе покрытая простыней лежала, судя по очертаниям, женщина, она не шевелилась.

— Погаси лампу,— слышалось из-за двери. Он услышал удаляющиеся шаги.

«А что, и погашу!» — сказал сам себе медик.

Он сделал четыре небольших шага к окну и надавил белую пуговку выключателя. Захотелось приподнять штору и посмотреть на улицу, но почему-то не решился. Отчетливо за спиной скрипнула постель, зашелестела простыня, и на пол ступили босые женские ноги.

— Спасибо тебе, милый! Я была уверена, что ты решишься! — Он почувствовал на своей шее сзади ее дыхание.— Спасибо,— повторила она.— Только я честная! — Женские пальцы уже расстегивали на нем рубашку.— Ты должен знать, ты платишь собой! — звенел в самое ухо громкий ее шепот.— Каждая минута, проведенная со мной... Ровно столько, сколько проживу я теперь, отнимется от твоей жизни.

— Так ты — это она? — удивился медик.— Только что там, в морге на столе?..

— Ну, ну да, я.

— А почему мы, к чертям, в темноте?

Над постелью загорелся маленький желтый ночничок. Женщина что-то шептала, увлекая его за собой на белый гладкий прямоугольник, а он тряс головой и все не мог и не мог протрезветь.

Любовь ведь стоит жизни, правда, милый?!

Под косым железным козырьком со скрипом раскачивалась лампочка. Света она почти не давала. Желтая и тусклая, покрытая слоем пыли.

— Ну, и чего скажешь хорошего? — спросил сторож, поворачивая к собеседнику желтое лицо. — Был там?

Медик покивал. Протянул руку за горящей в пальцах сторожа сигаркой. Спросил:

— Можно посмотреть?

— На нее посмотреть, что ли?

— На нее, — подтвердил медик.

Так же, как и в первый раз, они вошли в зал. Треснул выключатель. Под пятиметровым, крашенным голубой краской потолком вспыхнули яростно, оскалившись сквозь свои решетчатые круглые сетки, пятисотваттные лампы. В их свете заблестели столы. Забелели твердые обнаженные тела бывших людей.

— А все-таки дай ты мне ее по дружбе, ну хоть на пару часов уступи! — склоняясь над знакомым трупом, твердым голосом попросил медик. — Картину маслом напишу и верну. Деньги заплачу. С книжки завтра сотню сниму, твоя будет.

— Ну ты парень упрямый! — восхитился сторож

— Ну так как, дашь?

— Ладно, сгодится! — морщины на лице сторожа шевелились, лампочка скрипела под козырьком, и все вокруг переполняло сладостный запах формалина. — Как повезешь-то?

— Такси возьму! Оберну ее во что-нибудь, скажу, что пьяная!

Лицо медика было бело и сосредоточенно. В сумасшедших глазах не отражалась ни лампочка, ни тень морга, в них стояла фотографическая галлюцинация будущей картины. Он снял с себя пальто, обернул в него труп и потащил его, обнимая сбоку, сам оставшись в расстегнутой белой рубашке и коричневых брюках.

— Жена? — посочувствовал усталый таксист, снимая машину с тормоза.

— Любовница.

— Тогда все ясно, бывает. А я думал жена твоя, ну, скажем, где-нибудь в гостях нажралась, и теперь, скажем, домой едете.

— Мертвая она, а не пьяная. Труп это. Я его из морга на одну ночь у сторожа выпросил. Теперь домой везу. Картина маслом будет. Ты понимаешь, всю жизнь модель искал, сколько баб пересмотрел, ужас! А нашел, так уже мертвая оказалась!.. Но это неважно, я ее как живую нарисую!

Начиная трезветь, медик вглядывался в панораму ночного города и постепенно осознавал происходящее. Труп колотился деревянной головой о хилое его плечо, подтверждая реальность. Он видел уже собственные свои руки в краске, холст, устроенную в кресле покойницу. Он слышал звонок в дверь своей холостяцкой квартиры и

голос сторожа. Голос этот громко на всю лестницу при всех соседях выкрикивал: «Отдай ее, сейчас отдай, а то милицию позову!» Даже закрыв глаза, медик не перестал видеть несущихся ночных уличных фонарей.

— Здесь сойдешь или вас к подъезду подвезти? — спросил таксист, возвращая его к реальности.— С вас, ребята, пять двадцать две, на чай принципиально беру, но только от доброго сердца.

В эту только минуту пьяный пассажир сообразил, что ему нечем расплатиться с таксистом. Денег категорически не было не только в карманах, их не было и дома. До зарплаты оставалось еще пять дней, все подчистую пропито.

— Не волнуйся, милый, я заплачу!

Ощущение было несравнимым, то ли окатили льдом, то ли ошпарили кипятком. Он рванул дверцу, но дверца не подалась. Женская рука протянулась из короткого рукава пальто, вручая таксисту сложенную красненькую бумажку.

— Ну вот-вот! — захихикал таксист.— А говоришь мертвая!

Ольга Ивановна запахнулась в пальто, так что из-под него виднелись только ее красивые длинные ноги, и весело сказала:

— Пошли, милый! — голос у нее был мелодичный.— Да не дергай ты ручку не в ту сторону, не дергай! Так дверь все равно не откроется.

Оторопь прошла. Когда они вдвоем поднимались по лестнице на четвертый этаж в его холостяцкую квартиру, медик совершенно уже спокойно пытался в уме прикинуть, сколько же ему отмерено жить при том, что он пьет, курит и развратничает, и получившуюся цифру разделил на два.

Петр Хмелинский | ФАСАД ТЕРРОРА

Вниманию читателя предлагается набор отрывков из различных публикаций советской прессы 20-х и 30-х годов с минимальными комментариями составителя. Этот небольшой набор — выжимка из гораздо более объемного сборника «Фасад террора», подготовленного в настоящее время к публикации.

1923 год

«Правда». 1 января

Заголовок: «Молодые прекрасные варвары дерзко ломитесь в ворота науки».

«Правда». 18 апреля

Только что открылся XII съезд партии. Из политического отчета ЦК, сделанного товарищем Зиновьевым:

«...Рабочие верят в свою партию, как никогда... Это вовсе не значит, что у нас, однако, нет охотников все-таки в этот момент маненечко поколебать единство партии и придумать какую-нибудь платформу... Прямо предлагают — разным бывшим группировкам, тем, которые в партии и вне партии — пусть объединяются для создания внепартийной рабочей группы, которая должна исправить нашу партию. Я ГОВОРЮ — ПУСТЬ ЛУЧШЕ ОНИ САМИ СЕБЯ ИСПРАВЯТ. НАШУ ПАРТИЮ ИСПРАВЛЯТЬ НЕЧЕГО. БОЮСЬ, ЧТО КОЕ ПРО КОГО ПРИДЕТСЯ СКАЗАТЬ, ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИТ! (Аплодисменты)».

1924 год

«Правда». 8 февраля

Луначарский о Ленине: «Он никого не ненавидел, даже самых вредных людей из противного лагеря он расценивал по-марксистски, враг — подлежит уничтожению...»

«Правда». 1 марта

Профессор М. И. Авербах (участвовавший в лечении Владимира Ильича) — о Ленине: «В разговоре вы чувствовали, что этот человек хочет, и в конце концов, вероятно, заставит вас высказаться, но сам не скажет ни одного лишнего слова...»

«Правда». 15 марта

Из сообщений с мест:

«Рыбинск, 13 марта. Рабочие Авакумовского поселка 12 марта на большом митинге сожгли 100 икон...»

Винница, 13 марта. Религиозный дурман, охвативший одно время целый ряд районов Подольской губернии, сейчас быстро идет на убыль. На днях окончательно ликвидирована знаменитая Иосифатова долина, служившая долго местом паломничества темного селянства. В этой долине на пространстве трех десятин было сооружено 10 000 крестов. Сейчас, отрезвившись от религиозного дурмана, крестьяне окрестных сел на общем сходе постановили снести кресты на топливо и общими усилиями засеять весной долину, предоставив урожай в фонд комитетов крестьянской взаимопомощи...»

1925 год

«Правда». 1 мая

Из статьи Михаила Кольцова о Красной площади:

«Поучительному для будущего памятнику русского торгового капитала (имеется в виду здание ГУМа.— П. Х.) вредит совсем нелепая ложно-классическая группа Минина и Пожарского. Теперь, когда правая часть площади освящена трагическим героизмом новой истории человечества, надо убрать ловкого Козьму Минина — Сухорука, ухитрившегося заложить своих и чужих жен во славу отечества. Или, как шутят старые москвичи,— в интересах исторической справедливости заменить его памятником владельцам чае-развесочной фирмы Высоцкому и Гоцу...»

«Правда». 27 мая

Идет XIII съезд партии. Из выступления товарища Угланова против товарища Троцкого:

«...Я должен сообщить съезду, как реагировали различные слои на письма тов. Троцкого. Рабочие поддерживали единодушно ЦК, а инженеры Сормовского завода, например, реагировали совершенно иначе. Если беспартийные рабочие Сормовского завода при уходе на партийное собрание каждого партийного рабочего говорили ему: «Смотри, голосуй за Ленина, не голосуй за Троцкого», то инженеры Сормовского завода говорили несколько иначе: «Троцкий, ставя вопрос о демократии, прав; не только нужно рабочих вовлекать в Советы, но нужно и нам...» Вот как реагировали различные слои на письма тов. Троцкого...»

«Правда». 28 мая

Из выступления на съезде товарища Крупской:

«Мне кажется, что тов. Зиновьев, который, вероятно, руководился вполне естественным желанием услышать от оппозиции, будет ли она в дальнейшем идти нога в ногу с ядром партии и будет ли работать без камня за пазухой, неправильно сформулировал вопрос. Он бросил вызов оппозиции, призывал ее, чтобы она тут с трибуны признала свою неправоту. Психологически это невозможно... Я думаю, что ставить дело на такую почву и говорить: «скажи с трибуны, что ты не прав»,— не следовало бы...»

«Ленинградская правда». 6 июня

Из приветствия ленинградского губкома и редакции «Ленинградской правды» первому выпуску Коммунистического университета им. Зиновьева:

«Первый выпуск зиновьевцев — большое достижение нашей ленинградской партийной организации... Наши зиновьевцы во всей своей работе должны быть настоящими передовиками... Да здравствует первая большевистская шеренга Зиновьевского Университета! Да здравствует наша новая растущая ленинская смена!»

«Ленинградская правда». 7 ноября

Из литературного монтажа к годовщине Октябрьской революции — стихи описывают события 1917 года:

«В июле
Буржуевы зубья
Ощерились разом:
Раб взбунтовался.
— Плетями
Да в кровь его!
И ручка Керенского
Водит приказом:
На мушку — Ленина,
В «Кресты» — Зиновьева...»

О шалаше в Разливе: «Этот шалаш надо было назвать настоящим штабом революции, потому что здесь Ленин и Зиновьев совершенно спокойно занялись делами...»

1927 год

«Коммунистический интернационал». № 41. С. 20—21

Из выступления товарища Сталина 27 сентября на заседании президиума Исполкома Коминтерна:

«...Тов. Троцкий не понимает нашей партии... Он смотрит на нашу партию так же, как дворянин на чернь или как бюрократ на подчиненных. Иначе бы он не утверждал, что в миллионной партии, в ВКП, можно «захватить власть», «узурпировать» власть отдельным лицам... Почему же, в таком случае, Троцкому не удалось «захватить» власть в партии?.. Чем это объяснить? Разве тов. Троцкий более глуп или менее умен, чем Бухарин или Сталин?.. Тов. Троцкий изображает дело так, что нынешний режим в партии, опротивевший всей оппозиции, является чем-то принципиально другим в сравнении с тем режимом партии, который был установлен при Ленине... Я заявляю, товарищи, что тов. Троцкий говорит здесь прямую неправду. Я заявляю, что нынешний режим в партии есть точное выражение того самого режима, который был установлен в партии при Ленине, во время X и XI съездов нашей партии...

Вопрос о бонапартизме... Бонапартизм есть попытка навязать большинству волю меньшинства путем насилия... Где это бывало в

истории, чтобы большинство навязывало себе свою же собственную волю путем насилия? Кто же, кроме сошедших с ума, может повесть о возможности такой непредставимой вещи?»

«Пролетарий» (Харьков). 13 октября

Из доклада товарища Калинина на съезде рабочих и крестьянок: «...От кое-кого можно услышать вопрос: «За что мы боролись?»... Теперь только слепые могут не видеть, как далеко мы ушли за десять лет...»

1929 год

«Труд». 7 ноября

«Когда мы говорим, что Советский Союз в четвертом пятилетии оставит за собой Соединенные Штаты, это вызывает у наших врагов и недоброжелателей скептическую улыбку. Нас не смущают эти улыбки... Мы уверены, что того дня, когда эта генеральная директива превратится в совершившийся факт, дождется еще современное поколение. Пусть смеются наши недоброжелатели. Смеется тот, кто смеется последним».

Заголовок статьи В. Ульбрихта: «Клянемся бороться за Советскую Германию!»

«Литературная газета». 16 декабря

«В связи с работами по реформе русской орфографии и пунктуации, подготовляемой специальной комиссией Главнауки, перед комиссией встала и проблема ЛАТИНИЗАЦИИ РУССКОГО АЛФАВИТА. Эта задача приобрела сейчас особый интерес ввиду блестящего успеха нового тюркского алфавита, введенного на советском Востоке. На латинизированный алфавит перешли, как известно, все тюрко-татарские народы Союза, т. е. около 30 миллионов человек. Поэтому латинизированная русская азбука должна поглотить новый тюркский алфавит и стать, таким образом, единым алфавитом всего СССР... Мы получим, например, такое написание отрывка из «Евгения Онегина»:

Moi dādā samyx cesnyx pravil,
Kogda ne v sutku zanemog,
On uvazat' sebā zastavil
I lucse vydumat' ne mog».

«Правда». 23 декабря

В связи с только что миновавшим празднованием 50-летия Сталина (юбилей отмечался с небывалым доселе шумом) в газете помещена статья раскаявшегося оппозиционера Г. Пятакова «За руководство».

«Вопрос о Сталине» автор трактует следующим образом: «ЗА или ПРОТИВ — так стоял и стоит вопрос. Путаться трусливо на каких-либо межсумочных позициях может чиновник, обыватель, трус или «опустошенный» человек... Теперь уже совершенно ясно, что нельзя быть за партию и против ДАННОГО Центрального Комитета и нельзя быть за Центральный Комитет и против Сталина. Нейтраль-

ности или лояльности тут не может быть. Решен вопрос о за или против. Только безнадежные пошляки, ослепленные ненавистью к партии, могут толковать так, что речь идет о том, «кого слушаться». Только потерявшие последние остатки связи с пролетарской революцией могут говорить о готовности служить «бонапартистскому режиму». Только ренегаты, стремящиеся забрызгать грязью всех участвующих в великом деле строительства социализма, могут в решениях ПОЛИТИЧЕСКИХ вопросов искать низкие личные мотивы... Демонстрация ко дню 50-летия т. Сталина имеет не юбилейный характер,— она имеет глубочайший политический смысл, ибо она является демонстрацией единства и сплочения на основе генеральной линии вокруг Центрального Комитета... Я был против руководства и против Сталина, ошибочно считая, что ЦК и виднейший член его ведут неправильную, не ленинскую политику. Это — тягчайшая в моей политической жизни ошибка...»

«Правда». 27 декабря

Сообщается о встрече товарища Ворошилова с делегацией сталинградских рабочих. Трудящиеся, между прочим, сообщают военному наркому, что из 15 церквей города остались действующими лишь две.

1930 год

«Литературная газета». 27 января

Сообщается о заседании рабочей бригады по обследованию Главискусства. Из выступления заведующего Главискусством Ф. Ф. Раскольникова:

«Главискусство в период обострения классовой борьбы на всех фронтах должно проводить особо четкую классовую линию, отражая в то же время вылазки классового врага... Оно должно сделать упор на массовость. Аппарат его должен быть окоммунизирован и орабочен... Особо уязвимое место — это отсутствие пятилетки искусства, свидетельствующее о недопустимом отставании главка от темпов развития советского народного хозяйства...»

Из письма тридцати детских писателей Горькому:

«Когда детям в семье и в школе внушают, что собственность и кулачество — зло, нельзя им давать такую хоть и народную песенку, обработанную К. Чуковским:

Давай-ка, женушка,
Домок наживать.
Пойдем, голубушка,
На базар гулять и т. д.

Нельзя давать детям заучивать наизусть:

А нечистым трубочистам
Стыд и срам, стыд и срам...

И одновременно внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почетна, как и всякая другая...»

«Правда». 6 февраля.

«С площади Свердлова вниз к Дому Союзов текли потоки огня и крови: в ледяном воздухе клубились дымом факелы, взрывались ракеты, сухо трещали бенгальские огни, в воздухе пламенели сплошные красные знамена. Их было необычайно много, как никогда... Вокруг Дома Союзов... вспыхивали пышные, вихрастые костры. Они возникали где-то высоко над головами... В этот день, 5 февраля, инженеры, студенты и молодые рабочие Москвы жгли эмблему *кастовой замкнутости и привилегий специалиста — форменную инженерскую фуражку* (курсив мой.— П. Х.).

С полудетского возраста интеллигенция выделялась из среды «прочих» людей форменной фуражкой гимназиста, студента, врача, инженера. Это внешне выражало и узаконяло глубочайшую пропасть, существующую при капитализме между трудом умственным и трудом физическим... Интеллигенция не раз предательски подставляла ногу рабочему классу в самые тяжелые, решающие моменты революции. Большинство было с нашими врагами в начале революции, отдельные ее группы продолжают продаваться врагу до сих пор.

Но год великого перелома... принес еще один перелом. Решающее большинство технической интеллигенции, поставленной лицом к лицу с вопросом: с кем и против кого, ответило: с рабочим классом против общего классового врага...»

Из резолюций собраний интеллигенции, проведенных 5 февраля:

«В дни подготовки военного похода империалистических государств на Советский Союз мы, инженерно-технический персонал и вся научная интеллигенция, заявляем всему миру: мы за Советскую власть...»

«Литературная газета». 10 февраля

Сообщение о заседании рабочей бригады по обследованию Главполитпросвета. Из выступления Н. К. Крупской:

«Недавно в Твери сожгли хорошую библиотеку. Там же на обертку берут самые ценнейшие страницы самых ценнейших книг... Аппарат Главполитпросвета не был орабочен...»

«Правда». 18 апреля

Сообщение о траурном митинге в связи с гибелью Маяковского.

Критик Халатов: «Смерть Маяковского — огромная потеря на фронте революционной литературы мира. Непоправим, непонятен и непростителен этот самовольный уход с фронта, создание бреши в нем. Наша задача заполнить эту брешь».

Ф. Кон (от Наркомпроса): «Маяковский — один из немногих, ушедших с поста самовольно».

«Правда». 7 мая

«Покойник Иоанн Кронштадтский, по нашему мнению, должен от такого сообщения перевернуться в гробу. Подумайте: в марте 1930 г. (30-го!!) в библиотеке Бежицкого Дворца культуры обнаруживается тощая, но знаменательная книжица этого доморощенного российско-черносотенного златоуста: «Моя жизнь во Христе»... Надо думать, что бежицкие культработнички... во Христе всерьез

считают эти глубокомысленные изделия весьма полезными для погрязшего в неверии рабочего читателя... При ВЦСПС есть курсы заочного обучения библиотечных работников... Простейшую анкету в ВЦСПС составили так, что никак не понять, кто же обучается на курсах... где же вопросы о социальном положении и происхождении?! Таковых нету... Может быть, заочные курсы совершенствуют культработников во Христе — попов и поповых дочек?!»

1931 год

«Литературная газета». 30 мая

«Кинорежиссеры гг. Преображенская и Правов — авторы фильма «Бабы рязанские» и фильмы «Тихий Дон»... постановлением секретариата АРПК исключены из состава членов Ассоциации работников революционной кинематографии. Еще во время просмотра и обсуждения картины «Бабы рязанские» общим собранием АРПК было установлено, что киноавторы этой картины «взяли курс на обслуживание идеологии мелкобуржуазного зрителя». В новой своей работе — в картине «Тихий Дон» — Преображенская и Правов в своей «художественно-творческой позиции» не только не отрешились от прежней ошибочной линии, но, наоборот, последнюю углубили. Более того: на собрании ассоциации режиссеров Правов пытался оправдать враждебную нам идеологию тем, что картина «Тихий Дон» ставилась совместно с германской фирмой. В результате из фильма выхолощены все элементы классовой борьбы...»

«Литературная газета». 27 ноября

Из статьи главного редактора «Правды» Л. З. Мехлиса «За перестройку работы РАПП»: «Наш рядовой рабочий... не верующий в бога, участвующий в социалистическом соревновании... стоит по своей идеологии несколькими головами выше ЛЮБОГО буржуазного ученого и писателя, находящегося в плену у «боженьки»...»

1932 год

«Литературная газета». 11 июня

Из статьи И. Анисимова «Гуманисты на службе у империализма»: «Гуманизм — тонко замаскированное оружие империалистической политики... Гуманисты защищают империализм. Гуманисты поддерживают шатающееся здание капитализма... Гуманистическая ложь используется как прикрытие подготовки к войне. Гуманистическую маску надевают самые наглые шакалы империализма... Разоблачение гуманизма — актуальнейшая задача. Переходящие на сторону рабочего класса мелкобуржуазные интеллигенты Запада разрывают с гуманистическими иллюзиями».

